

3

966

Искаатель

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ





Искажель

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ?

Л. ЛАГИН — Голубой человек	2
Борис ЗУБКОВ, Евгений МУСЛИН — Немая исповедь	41
Виктор ВИКТОРОВ — Возьми себя в руки, старик!	50
Клиффорд Д. САЙМАК — Дежное дерево	62
Кира СОШИНСКАЯ — Бедолага	92
И. БОДУНОВ, Е. РЫСС — Обрывок газеты	99
Владимир ВЕЛЛЕ, Теодор ГЛАДКОВ — Золото	126
Н. ЖЕЛЕЗНИКОВ — Искатели клада	137
Кингсли ЭМИС — Хемингуэй в космосе	155

№ **3** (33)

1966
ШЕСТОЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

Л. ЛАГИН

ГОЛУБОЙ ЧЕЛОВЕК

Главы из романа

13 января 1959 года, в ночь на «старый Новый год», советский молодой человек, рабочий одного из московских предприятий и студент-заочник Георгий Антошин удивительным путем попадает из социалистической Москвы середины XX века в новогоднюю Москву 1894 года. В романе Л. Лагина «Голубой человек» описываются дела и переживания, встречи и думы Антошина за те несколько месяцев, которые он провел в старой, дореволюционной Москве времен зарождения организованного рабочего движения.

Когда Георгий Антошин впоследствии пытался восстановить в памяти подробности своего удивительного Старого-Нового 1959—1894 года, ему в первую очередь вспоминалась Большая Бронная улица, какой он ее впервые увидел, выйдя из мрачных ворот домовладения жены коллежского советника Екатерины Петровны Филимоновой.

Пожалуй, самым поразительным было то, что на первый взгляд она почти ничем не отличалась от той Большой Бронной, какую он знал до своей роковой ссоры с Галкой Бредихиной. Разве только что вывешенные по поводу табельного дня трехцветные царские флаги да вывески с дикими деталями — фамилиями владельцев торговых заведений. Антошин нарочно проделал такой знакомый ему по вчерашнему вечеру путь — по Большой Бронной направо, до Пушкинской площади (теперь она называлась по-старому Страстной), потом по площади направо, до внешнего

Полностью роман Л. Лагина «Голубой человек» будет опубликован в конце года в журнале «Москва».

проезда Тверского бульвара, и снова направо по этому проезду, до того невзрачного здания, где еще вчера вечером — в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году — помещался кинотеатр «Новости дня», и на всем этом пути он не встретил ни одного дома, которого не видел бы вчера.

Но памятник Пушкину стоял теперь на своем первоначальном месте, в самом начале Тверского бульвара. По левую руку бронзового Пушкина, в знакомом трехэтажном доме с нелепым бельведерчиком поблескивала большими цветными шарами знакомая ему с детства аптека. Но теперь она принадлежала не государству, а хозяину, частнику. По правую руку, на внутреннем проезде Тверского бульвара, где потом был многоэтажный дом с магазином «Армения» на углу, высилась церковь святого Дмитрия Солунского с красивыми широкими ступеньками. А там, где Антошин привык видеть новый просторный сквер с фонтанами у памятника Пушкину, закрывала горизонт приземистая громада женского Страстного монастыря, окруженная толстой округлой крепостной стеной, из-за которой там и сям торчали голые верхушки деревьев.

На проезжей части площади, ближе к аптеке, темнел на фоне свежесвыпавшего снега павильон городской конной железной дороги. Под его навесом на полированной деревянной скамье спасались от порывистого ветра несколько приезжих в лаптях, с котомками за плечами. Прогромыхала, глухо тенькая колокольчиком, двухэтажная конка с вывеской во всю ее длину: «Коньяк Шустова». На империале спиной к ветру, втянув в поднятый воротник голову в потертой мерлушковой шапке пирожком, сидел одинокий пассажир. Его унылая, скорчившаяся в три погибели фигура была как бы окантована снегом. Что заставило его забираться в такую мерзкую погоду на открытый всем четырем ветрам империал? Экономия (две копейки разницы против стоимости проезда внутри вагона)? Тяга к одиночеству? Потребность проветриться после бурно проведенной новогодней ночи?

Улицы, бульвар, площадь были равно пустынно и тихи. Табельный, неприсутственный и нерабочий день еще только начинался. Москвичи отсыпались. Лениво протряхал извозчик: узенькие, похожие на игрушечные сани, покрытые облезлой полостью, невидная лошадка с ленточкой, вплетенной в жиденькую гриву по случаю праздника, точь-в-точь такой же, как десятки извозчиков, которых Антошин перевидал в кинофильмах и в иллюстрациях к сочинениям Льва Толстого, Антона Павловича Чехова. Маячил на углу, переминаясь с ноги на ногу, озябший городской, первый городской, которого Антошин увидел не на экране, а в жизни, в натуральном виде. Коренастый, массивный, в черной шинели с погонами из крученого красного жгута, с красным шнуром-аксельбантом, который кончался защелкой на рукоятке торчавшего из черной кобуры револьвера. На городском была круглая, черная и низкая барашковая шапка с разлапистым позолоченным знаком.

Скамейки вокруг памятника Пушкину были покрыты пухлыми снежными перинками, чистенькими, свежими, нематыми. С тех пор как начал ночью падать снег, на них еще никто не сидел. Кроме одной. Кто-то смёл на ней краешек и, видно, не



Рисунки Н. КУТИЛОВА

очень давно ушел, потому что сиденье в этом месте было только слегка припущено снегом. А сбоку, возле самого края скамейки, валялась сложенная вчетверо газета... «Ведомости московской городской полиции»!

Когда-то в далекие детдомовские годы руководитель их политкружка, старая коммунистка Александра Степановна Беклемишева, лично водила юного Антошина — признанного главу детдомовских «историков-марксистов» — в Старосадский переулок, в Историческую библиотеку. Они поднялись с нею на пятый этаж, в газетный отдел, и Александра Степановна сама подобрала для своего любимца несколько комплектов старых московских газет. Несколько воскресных дней Антошин с утра до вечера (с перерывом на обед у Александры Степановны) листал хрусткие газетные комплекты, огромные, громоздкие, неудобные, в дешевых и некрасивых картонных переплетах. Он прочел в них



уйму «Дневников происшествий» и объявлений, выписывал самое интересное, и это ему здорово помогло, когда он, пунцовый от горделивого волнения, делал на кружке сообщения «О характерных фактах московской жизни времен зарождения организованного рабочего движения».

Многого Антошин тогда в тех газетах не понимал, многое было ему хоть и понятно, но неинтересно.

Теперь Антошину предстояло читать одну из тех газет не в качестве самодеятельного историка, а как ее современнику.

* * *

По старой памяти он начал с «Дневника происшествий».

«Тридцатого декабря, — прочитал он, застревая с непривычки на незнакомых буквах «ять» и «фита», — в доме Берга на Маросейке был усмотрен повесившийся запасный рядовой, из крестьян, Федор Владимиров, 34 лет. Покойный злоупотреблял спиртными напитками, что, вероятно, и послужило причиной к самоубийству».

В тот же день в Старо-Екатерининской больнице умерла учительница Ольга Игнатьевна Самойлова, 30 лет. Смерть последовала от отравления карболовой кислотой, которую Самойлова приняла, проходя по Третьей Мещанской улице. Покойная последнее время находилась без занятий, была очень задумчива и не раз говорила домашним о желании покончить с собой.

В тот же день в приемный покой Мясницкой части доставлен был поднятый на улице неизвестный мужчина в болезненном состоянии, с отмороженными руками, который, успев назвать себя крестьянином Корчевского уезда Федором Марковым, 47 лет, вскоре умер.

Того же числа были подкинута младицы: к воротам дома Бородина в Головином переулке младице мужского пола; в коридоре при конторе смотрителя Мясницкой части — женского пола, с запискою: «Крещена, звать Татьяна», и на парадное крыльцо квартиры мещанина Федорова, в доме Маманина на Цветном бульваре, — также женского пола, с запискою: «Крещена, звать Домною». Подкинутые младицы отправлены в воспитательный дом.

Из Перми сообщали, что в здешнем городском театре устроено электрическое освещение, которое предполагается распространить и на ближайшие улицы.

Из Санкт-Петербурга сообщали, что министр юстиции Макасеин уволен от должности по расстроенному здоровью и назначен членом Государственного совета с пожалованием ордена Александра Невского с бриллиантами, а государственный секретарь Муравьев назначен управляющим министерством юстиции. Товарищ министра внутренних дел Плева назначен государственным секретарем, Управляющий министерством государственных имуществ Ермолов утвержден министром государственных имуществ.

Обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев пожалован в статс-секретари,

* * *

— Газетку читаем, землячок?

Антошин оглянулся. Справа от него пристроились на скамейке двое молодых людей — гимназист и студент. Оба в форменных шинелях и фуражках, свежие, оживленные, добродушные и любопытные.

— Пытаюсь, — ответил Антошин.

— Трудно небось? — посочувствовал гимназист.

— Да не так чтобы очень.

— Хорошо, значит, грамотный.

— Более или менее, — сказал Антошин. Его забавлял и чуть-чуть раздражал мальчишески-снисходительный тон гимназиста.

— Сам на эту газету подписываешься или у хозяев одолажешься? — продолжал свои расспросы гимназист.

— А вы, господин гимназист, со всеми незнакомыми людьми на «ты» или только с престономародьем? — полюбопытствовал Антошин, не повышая голоса.

Студент глянул на Антошина с приятным удивлением. Гимназист покраснел.

— Я так для доступности, — пробормотал он, все больше краснея, — для простоты обращения...

— Я нашел ее на снегу у скамейки, — протянул ему Антошин газету. — Если это ваша, то пожалуйста...

Гимназист вспыхнул:

— Ни один приличный русский человек не читает «Ведомости московской городской полиции»! Ни один уважающий себя русский человек не опустится до того, чтобы...

Очевидно, он сел на своего любимого конька, потому что студент бесцеремонно перебил его.

— Хотелось бы знать, — обратился он к Антошину, — какое она на вас производит впечатление, эта газета?

Студент был серьезен, благожелателен и, видимо, искренне заинтересован таким редким явлением — крестьянским парнем, читающим газету.

Тут мы считаем нужным еще раз подчеркнуть, что в тот день Антошин еще склонен был относиться ко всему, что так неожиданно и непонятно на него навалилось, не задумываясь и шутиливо.

— Других газет я пока не видал, — сказал Антошин. — Сравнить поэтому не могу. Но... — тут он вдруг, сам того не желая, ухмыльнулся, — но информация в ней неполная, это факт.

Вряд ли во всей Московской губернии, включая столичный град Москву, можно было в тысяча восемьсот девяносто четвертом году насчитать десяток простых, только что распростившихся с деревней крестьянских парней, которые знали бы значение, а тем более свободно пользовались такими редкими и учеными заграничными словами, как «информация» и «факт». Если студент был раньше заинтересован Антошиным, то теперь он уже был явно заинтригован.

— ИНФОРМАЦИЯ, говорите, в ней неполная? — протянул он, казня презрительным взглядом совсем присмирившего гимназиста. — А почему вы считаете фактом, что информация в ней неполная?

— А вы судите сами, — отвечал Антошин на полном серьезе и ткнул пальцем в обширную заметку на третьей полосе «Ведомостей». — Вот сообщают, например, что вчера прибыли в Москву тайный советник Шмит, действительные статские советники Зилов, Лестушевский, Пупешников — самые что ни на есть замшелые чинуши, бюрократы, канцелярские крысы, какой-то камердинер высочайшего двора Никифоров...

— Не камердинер, а камергер, — поправил Антошина гимназист, следивший за его указательным пальцем, водившим по строкам заметки.

— Одна дрянь, — сказал Антошин. — И камердинер холуй, и камергер холуй.

— Э-э-э, братец! — покосился на него гимназист. — С такими словечками надо, братец, поосторожней!.. За такие словечки, братец, раз-раз — и быстренько туда, куда Макар телят не гонял!

— «И какой же русский не любит быстрой езды!» — беззаботно усмехнулся Антошин.

Теперь студент смотрел на Антошина со смешанным чувством восхищения и недоумения. Было легко догадаться по выражению его лица, что он никак не мог понять, кто этот одетый мужичком загадочный парень, который цитирует, да еще так рискованно, «Мертвые души».

— Ты, Дима, не перебивай! — остановил он гимназиста и снова обратился к Антошину:

— Значит, говорите, камердинер высочайшего двора Никифоров?

— Вот именно, — невозмутимо подтвердил Антошин. — И откуда они прибыли сказано и где остановились. А вот что в тот же самый день тридцать первого декабря прибыл и остановился на Большой Бронной улице, в доме Филимоновой, на квартире у своей тетки Ефросиньи Авксентьевны Малаховой такой удивительный человек, как Георгий Васильевич Антошин, об этом, представьте, ни слова!

— Действительно, получилось не совсем прилично, — в тон ему подхватил студент: — Но, может, Георгий Васильевич поздно прибыл? Тогда сообщат в следующем номере.

— Да, вот этого я, пожалуй, не учел, — сурово согласился Антошин. — Георгий Васильевич прибыл вчера в двенадцатом часу ночи.

— Ну, вот видите! — сказал студент, откровенно потешаясь над гимназистом, который поначалу слушал их разинув рот. — Значит, читайте в следующем номере. Надеюсь, это вы и есть господин Антошин?

— Не буду скрывать, — чуть улыбнулся он, — я и есть этот самый Антошин.

— Синельников. Тезка ваш. Тоже Георгий. Только Викторovich. — Студент привстал и пожал Антошину руку.

— Воронич Дмитрий... Кириллович, — в свою очередь, представился гимназист и снова залился краской. — Гимназист восьмого класса... Мы с вами, оказывается, почти соседи... Мы проживаем на Малой Бронной, в домах Гирша... Я так и думал, что...

Но ни Антошину, ни Синельникову не было интересно, что думал гимназист восьмого класса Воронич Дмитрий, и Синельников снова без всяких церемоний перебил его:

— Впервые в Москве?

— Да как вам сказать... — замылся Антошин. — Вроде и был я здесь раньше, а вроде и не был. Во всяком случае, теперешнюю Москву я, считайте, не знаю вовсе.

— Та-а-ак... — протянул студент. — Та-а-ак! А видели вы уже наши новые Верхние торговые ряды на Красной площади? Я бы даже сказал, не новые, а новехонькие. Только месяц, как их построили. Прекраснейшее, доложу я вам, здание! Такое и в Париже не стыдно было бы поставить. Длина по фасаду сто шестнадцать сажен!.. Стекланная крыша на головокружительной высоте!.. Фонтан, представьте себе, как в сказочном дворце!.. И магазины, магазины, магазины!.. На обоих этажах сплошь магазины... И роскошь электрических ламп!.. Вы уже видели электрическое освещение? Если вы не видели, то...

— Гога! — сказал гимназист. — Смотри, кто идет.

Со стороны Никитских ворот неторопливо, вразвалочку приближался студент лет тридцати с лишним, небритый, в потрепанной шинели и выдавшей виды фуражке блином.

— Это мой друг! — обрадованно объяснил Воронич Антошину. — Вяльцев. «Вечный студент»... Хотите, я вас познакомлю? Он любит интеллигентных крестьян.

И они с Синельниковым замахали Вяльцеву, приглашая разделить с ними компанию на скамейке. «Вечный студент» отри-

цательно мотнул головой, развел руками: дескать, рад бы, но не могу. Дела.

По-прежнему не торопясь, он вскоре поравнялся с памятником и остановился по ту сторону памятника, потому что Синельников, а вслед за ним и гимназист кинулись поздравлять его с Новым годом, Потом Воронич стал что-то восторженно шептать ему, кивая на Антошина. Антошин из скромности снова уткнулся в газету, но краешком глаза заметил, как «вечный студент», очевидно не разделив восторгов гимназиста, помрачнел, надулся и стал вполголоса, но очень резко в чем-то выговаривать обоим своим молодым приятелям. До Антошина долетело слово «провокаатор», потом «полицейские ведомости», потом что-то насчет «типичного идиотства и ребяческой доверчивости», потом Вяльцев нарочито закашлялся, обращая тем самым внимание молодых людей на то, что Антошин прислушивается к их разговору. Оба молодых человека опасливо и — возможно, это только показалось Антошину — с отвращением оглянулись на него. Потом Синельников уже из-за памятника крикнул: «До свидания! Мы очень торопимся!» И чтобы сбить с толку Антошина, если тот захочет за ними увязаться, «вечный студент» повернул налево, к Триумфальным воротам, Синельников — назад, к Никитским, а гимназист Воронич Дмитрий махнул напрямик — к Петровским.

Чего обижаться? Во сне чего не бывает? Антошин заставил себя усмехнуться и снова углубился в газету. Но, говоря по совести, ему стало немножко не по себе. Даже во сне противно, если тебя принимают за провокатора. Он встал со скамейки, сложил газету вчетверо, не торопясь сбил ею снег, налипший на его штаны, вздохнул и повернул направо, на Тверскую.

Тверская хмуρο поглядывала из-под вывесок на редких прохожих заспанными белесыми глазками своих невысоких витрин. Вывесок-то, вывесок сколько было повешено на приземистых, все больше двух-, трех-, а то и одноэтажных строениях удивительно неширокой Тверской! От коньков крыш до самых тротуаров они висели тяжко, как вериги, разнокалиберные, разноцветные, с сусального золота буквами, «ятами», «твердыми знаками» и «фитами», с двуглавыми орлами на вывесках «поставщиков двора его величества», с красными крестами на вывесках «депо пивовок», с роскошными дамами в ротондах и мужчинами неземной красоты в блестящих цилиндрах — над мужскими и дамскими конфекционными, с дамами в умопомрачительных прическах и молодыми усатыми джентльменами со скульптурными эспаньолками — над парикмахерскими, с виноградными гроздьями — над ренсковыми погребями. Поразительно громоздкие, неправдоподобные для советского человека вывески с фамилиями владельцев этих торговых и промышленных предприятий!.. Частников!..

Над крышами курчавились дымы из сотен печных кирпичных труб: голландские и русские печки отогревали поостывшие за ветреную ночь квартиры.

На Тверской площади, у подъезда тогда еще двухэтажного генерал-губернаторского дворца, поблескивали лаком нарядные сани, запряженные тройкой серых в яблоках лошадей. На облуже восседал неподвижный и громоздкий, как памятник, ку-

чер в щегольской шапке с павлиньим пером. Несколько казаков с молодеческими чубами из-под папах застыли на своих до блеска начищенных конях. На противоположном углу, у гостиницы «Дрезден», там, где во времена Антошина было кафе «Отдых», скопилось человек двадцать зевак, ожидавших появления августейшего генерал-губернатора. Антошин стоял сначала позади, потом, когда зеваки заволновались, он пробился вперед и успел увидеть, как из подъезда вышел высокий, совсем еще молодой офицер с незначительным, но красивым лицом, младший брат царя, великий князь Сергей Александрович.

Большинство присутствующих смотрели на великого князя с благоговением, кое-кто безразлично. Были, возможно, считанные люди, которые смотрели на него с хорошо скрытой неприязнью. Но только Антошин один во всем мире знал в этот ранний зимний час, что Сергей Александрович — брат предпоследнего и дядя последнего русского царя и что ровно через десять лет он будет убит. И он не только знал, что Сергей Александрович будет убит, он знал место, где это произойдет, имя и фамилию его будущего убийцы и даже улицу в Москве, которая после революции будет названа именем этого революционера.

А генерал-губернатор, пока у Антошина мелькали в мозгу эти мысли, пошел к саням, камер-лакей ловко отстегнул драгоценную меховую полсть, пропустил под нее августейшего, снова ее застегнул, кучер дернул вожжи, тройка легко рванулась с места и под звон бубенцов понесла вниз, к Моисеевской площади, к Красной и дальше вниз, под гору, в Замоскворечье, прогуливая его только что опохмелявшееся императорское высочество.

А Антошин пошел вниз по крутой и узенькой Тверской пешочком, не торопясь, спокойным шагом, непрерывно оглядываясь по сторонам, заглядывая сквозь оттаявшие глазки в затянутые изморозью витрины, внутрь лавок, магазинов, мастерских, пивных, кофейных и ресторанов. У низенькой трехэтажной гостиницы «Париж», что на углу Охотного, насупротив «Национальной» гостиницы, он повернул налево, к Параскеве Пятнице и пошел по Охотному ряду. Из птичьих боен тянуло смрадом гниющего мяса...

* * *

Дверь в подвал была заперта: Малаховы еще не вернулись из гостей. Надо было ждать.

Антошин присел во дворе на лавочке. Ветер утих. Перестал сыпать снег. Над белыми крышами столбом стояли в морозном сером небе белые дымы из печных труб. На дворе было по-праздничному тихо и безлюдно. Редко-редко кто выбегал по нужде, торопко похрустывая по свежему снегу. На Антошина никто внимания не обращал. Пробежит человек наискосок к дощатому нужнику, пробежит обратно, поеживаясь от холода, и снова становилось совсем тихо. Только слышно было сквозь форточку на втором этаже, как кто-то из постояльцев мебелированных комнат терпеливо, но бесталанно разучивал на мандолине песню «Чудный месяц плывет над рекою». До колена «ничего мне на свете не надо» все шло более или менее сносно, но

на этом месте он роковым образом застревал и с бычьим упорством все начинал сначала.

А дверь в подвал, в котором со вчерашней ночи проживал Антошин, все еще была заперта. Антошин совсем озяб. Он решил побродить по улице, не теряя из виду ворота. В подворотне он носом к носу столкнулся с Сашкой Терентьевым. Бывший сыщик сегодня был трезв и, признав Антошина, снизошел до того, чтобы поздравить с Новым годом. Поздравив, увлек Антошина вниз по Большой Бронной для экстренного разговора.

— Ты свою пользу понимаешь? — спросил он недоумевающего Антошина, когда они, наконец, остановились на углу Сытинского переулка.

— Понимаю, — сказал Антошин.

— А язык держать за зубами умеешь?

— Умею, — сказал Антошин. — А что?

— А то, что ты, ежели хочешь знать, держишь свое счастье в своих собственных руках! Вот в каком смысле!..

— Да ну?

— Не «да ну», а так точно!.. Только смотри, проговоришься хоть кому, хоть даже своему дядке или Ефросинье Авксентьевне, не жить тебе на свете, голову оторву и на помойку выброшу... И ничего мне за это не будет... Понял?

— А ты меня не страшай, а говори дело, — отвечал Антошин. — Пугать меня не надо.

— Меблирашки Зойкины знаешь? — спросил Сашка, деловито шмыгнув носом.

— Ну, знаю, — сказал Антошин.

— Может, заметил такого жильца, конопатого такого? Все у него лицо в ямках. От оспы. Сам из себя такой худой, длинновязый. Шляпа черная. Пальто, обратно, тоже черное. Шарф вокруг шеи носит зеленый. Уши острые, приплюснутые к самой голове. Голова, обратно, тоже длинная. Шатен... Мочки на ушах средние...

— Н-н-не-ет, вроде не примечал, — протянул Антошин и глянул на Сашку с особым любопытством, которое Сашка принял в выгодном для себя смысле.



А это Антошин вспомнил, как утром, за чаем, Шурка, девятилетняя дочь Степана и Ефросиньи, стала болтать про какого-то Конопатого, который третий день проживает в Зойкиных меблирашках, а приехал в Москву будто бы аж из Сибири, с даторги. Степан и Ефросинья перепугались, накричали на Шурку, чтобы она про Конопатого не болтала, а то еще с такой болтушкой беды не оберешься.

Антошин в распросы, конечно, не пустился, промолчал, будто бы ему и вовсе неинтересно. Но про себя подумал: а вдруг этот Конопатый революционер? И ему очень захотелось встретиться с этим Конопатым, поговорить с ним, с настоящим, живым и еще молодым борцом за народное дело на самой заре русского рабочего движения.

— Нет, не примечал, — повторил он после коротенькой паузы. — А кто он такой?

— Фамилие его тебе ни к чему, — перешел на шепот Сашка, то и дело оглядываясь по сторонам. — Розанов ему фамилие, а имя ему Сергей Абрамыч... Известно тебе, кто он такой есть?

— Нет, — сказал Антошин, — неизвестно. Я же тебе говорил, что неизвестно. А кто он такой есть?

— А есть он, — торжественно отчеканил Сашка, — государственный преступник. По отбытии срока наказания следует к месту своего рождения.

— Государственный преступник?.. А что это такое есть государственный преступник? — осведомился Антошин, с удовольствием входя в образ простоватого деревенского парня. — Вроде конокрада?

— «Конокрада», «конокрада»! — с досадой передразнил его Сашка и уже совсем шепотом пояснил, делая круглые глаза: — Против государя нашего императора бунтовал!

— Да ну?.. — в свою очередь сделал круглые глаза Антошин. — Да разве против государя императора бунтуют? Ты меня не обманывай! Меня обманывать грех: я круглый сирота. Чего это люди против царя бунтовать будут? В каком таком смысле?

— С жиру бесятся, вот и бунтуют. И Конопатый тоже все с жиру. В бога не верит, вот и бунтовал.

— Разве такому человеку можно позволить в Москве останавливаться? — забеспокоился Антошин, вызвав снисходительную улыбку Сашки. — А вдруг он меня зарежет или тетю Фросю?

— Значит, можно. Временно... Не наше с тобой дело такие дела решать. На это начальство поставлено. Разрешили — значит, можно.

— Ну разве только если начальство, — согласился Антошин. — А я тут при чем? Я человек приезжий, смирный. Мне на работу надо становиться, пропитание себе зарабатывать...

— Вот дурья голова! Как раз об этом с тобой и толкую. Хочешь, пока на работу поступить, подработать?... И на хлеб хватит, и на квас, и на сало, и на воду-лимоннад, и на фруктовую карамель, и на вино... И с бабами всласть погуляешь.

— А чего такого с меня требуется? — спросил Антошин.

— К этому Конопатому будут всякие люди ходить, — снова

зашептал Сашка. — Требуется установить, что за люди, куда от него уходят. А мне потом докладывать. А уж я—по начальству... Понял?..

— А это почему за ними следить? — спросил Антошин, с трудом удерживаясь, чтобы не разбить в кровь приторно ласковую Сашкину физиономию, которая находилась в манящей близости от его правого кулака.

— А может, они тоже государственные преступники, вот почему, — терпеливо объяснял Сашка, вздрагивая каждый раз, когда мимо них проходил прохожий. — Ежели они, преступники, бунтуют, то надо, конечно, проследить, где кто проживает. Тогда их можно будет взять под арест... — Он заметил хорошо разыгранное недоумение на лице своего собеседника и пояснил:— Ну, посадить их в тюрьму, потом, конечно, под суд и в Сибирь на каторгу, чтобы не мучили православных христиан. Теперь тебе понятно?

— Теперь понятно, — согласился Антошин. — А я тут при чем? Тебе все это еще более понятно, ты их и проследи.

— Мне нельзя! — горячо отвечал ему Сашка. — Стал бы я с тобой доходом делиться, кабы мог сам! Да мне нельзя. Уже он знает, что я в сыском работал... Уже ему какая-то сука про меня набрехала... И потом, я из себя мужчина приметный, образованный, а ты, наоборот, неприметный, одним словом, деревенщина, Рязань косопузая... Да ты не обижайся! Я тебя деревней не со зла называю, а так, к слову...

— Я не рязанский, я московский, и обижаться мне на тебя не стоит, — медленно протянул Антошин, лихорадочно обдумывая, что лучше: отказаться под благовидным предлогом или в интересах Конопатого и революции согласиться. — А мне за это что будет? Какая награда?

— Деньги тебе будут! — жарко зашептал Терентьев. — Очень большая масса денег!.. Пять рублей!.. Даже шесть!.. Ну как? — спросил он после довольно продолжительного молчания.

— Боязно мне, — сказал Антошин. — Еще зарежет.

— Да не зарежет он тебя, — стал его успокаивать Сашка. — Очень ему нужно таких, как ты, резать! Ты для него будешь вроде как пар — и все...

— Боязно мне, — повторил Антошин с сомнением. — Разве что для начала попробовать... Только ты мне как, деньги вперед дашь?

— Сейчас не дам. Не буду врать. Не при деньгах я сегодня. А придешь ко мне с первым докладом, сразу дам тебе задаток... Я тебе сразу полтинник отвалю... Даже целковый... Желательно тебе получить такую сумму денег? Ты сказывай, не стесняйся...

— Желательно, — протянул Антошин, — только боязно... Смотри, если ничего у меня не получится — не сердись...

— Получится у тебя, голову даю отсечь — получится. Ты парень толковый.

— А ты меня не обманешь? — совсем уже вошел в роль Антошин.

— Ну как ты, Егор, сомневаться можешь? Ай-ай-ай! — закачал на него головой Сашка, довольный, что дело на мази. — Разве я похож на жулика?

— Похож, — с почти клиническим простодушием промолвил Антошин, глядя прямо в глаза Сашке. — Ты ужасно хитрый.

— Что хитрый, это верно, — согласился Сашка. — Без этого в нашем деле нельзя. Хитростью кормимся. А что я на жулика похож, так это ты говоришь исключительно по своему невежеству. Вам, деревенским, всякий городской жуликом кажется. Значит, по рукам?

— Разве что попробовать, — сказал Антошин. — Только, чур, не получится у меня, не сердись...

— Не буду, не буду! Честное мое тебе благородное слово!

— Смотри, не забудь: обещал для начала рубль! — напомнил ему Антошин.

— Считаю, он уже у тебя в кармане... Ой! — тихо вскрикнул Сашка и потащил Антошина за угол, в Сытинский переулок. — Видишь, во-он там, со Страстной, идет этот самый Конопатый... Так ты ему пойдешь навстречу, поздоровайся, играй из себя дурака. Понятно?

— Понятно, — сказал Антошин. — Только мне ужас как трудно из себя дурака разыгрывать. Вдруг не получится?

— У тебя получится, — успокоил его Сашка, и на лице его мелькнула презрительная ухмылка. — Чего-чего, а это у тебя получится первый сорт. Спросит он у тебя, чего ты с ним здороваться, отвечай — мы с вами, барин, дескать, на одном дворе проживаем, и я к вам, дескать, барин, имею самое полное благодушие. Ты с ним разговаривай с самым что ни на есть громадным уважением, будто он не каторжанин, а, скажем, околочный надзиратель или, скажем, богатеющий купец первой гильдии. Смотришь, разговоришься, познакомитесь — и дело пойдет аккуратно, как надобно...

— Боязно мне, ох, боязно! — снова проговорил Антошин.

Он действительно очень волновался, и Сашка, поняв это волнение по-своему, был в высшей степени удовлетворен. Проследив из-за угла, как Антошин шел навстречу Конопатому и как они, наконец, встретились, Сашка быстренько потер руки: дело было на мази.

* * *

Они встретились у ворот их дома. Словесный портрет Конопатого, который Сашка по всем правилам филерской техники дал Антошину, оказался довольно точным, хотя и неполным. Антошин увидел молодого человека лет двадцати пяти — двадцати шести. Он был долговяз, худ, в черной поношенной шляпе, из-под которой на затылке выглядывали густые, пепельного цвета волосы. Его желтоватое лицо с острыми красными скулами было щедро покрыто оспинами, а тонкие, хрящеватые и почти прозрачные уши были и на самом деле прижаты к голове. На нем просторно висело длиннополое потертое черное пальто с поднятым по случаю стужи негреющим узким плюшевым воротником. Зеленый шарф, обмотанный вокруг его тонкой, не по возрасту жилистой шеи, как бы подчеркивал нездоровый цвет его лица. Но Сашка ничего не упомянул о глазах Конопатого. А глаза на его заурядном лице были необыкновенные — умные, острые, решительные, добрые и очень невеселые.

— Здравствуйте, — сказал Антошин, превозмогая волнение, и снял шапку. (Он уже успел заметить, как крестьяне здороваются с господами.) — С Новым вас годом, с новым счастьем! — Антошин снова глянул на его желтое лицо и добавил: — Желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни!

— Спасибо. И вас также, — ответил с явным недоумением Конопатый. — ...А разве мы с вами знакомы?

— Мы с вами проживаем на одном дворе, — справился, наконец, Антошин со своим голосом. — Только вы в мебелированных, а я в воротах, в подвале... Я у сапожника проживаю, у Степана Кузьмича... Я племянник его жены Ефросиньи Авдеевны. Может быть, знаете?

— Очень приятно, — равнодушно промолвил Конопатый, поклонился и пошел в ворота.

Антошин с шапкой в руке пошел за ним следом.

— Одну минуточку! — сказал он и тронул Конопатого за рукав, когда они уже вошли во двор. — Мне вам нужно сказать несколько очень важных слов.

Конопатый остановился:

— Чем могу служить?

— Вы знаете человека по имени Терентьев, Сашку Терентьева?

— Предположим. Дальше?

— Он нехороший человек. Вы его остерегайтесь.

— Я вас не понимаю, — сказал Конопатый, настороженно глядя на взволнованное и раскрасневшееся лицо Антошина. — Почему это я должен опасаться некоего господина Терентьева?

— Он меня только что уговаривал установить слежку за вами и за теми, кто будет к вам сюда приходиться.

— УСТАНОВИТЬ СЛЕЖКУ? — переспросил Конопатый, подчеркивая своей интонацией всю необычность этих слов в устах деревенского парня.

— Ну да, — не понял его намек Антошин и горячо продолжал: — Он мне посулил за это шесть рублей. После первого моего донесения — задаток в размере одного рубля. А я должен за это постараться войти к вам в доверие.

— Я вас не понимаю, — ответил ему с неожиданным презрением Конопатый, следя за сложенной четверо газетой, которой Антошин машинально размахивал в такт своим словам. — Вы меня с кем-то путаете. Мне нечего опасаться полиции. Я ни в чем не виноват.

— Вы... вы меня подозреваете? — вдруг перехватил Антошин его взгляд и побледнел от возмущения. — Вы думаете, что это с моей стороны мистификация, ловкий ход, чтобы втереться к вам в доверие?

— Вы даже не даете себе, милостивый государь, труда выражаться языком русского крестьянина! — усмехнулся Конопатый и стряхнул руку Антошина со своей. — В высшей степени топорно работаете, сударь, в высшей степени топорно!.. Кстати, если вы намерены преуспевать в вашей благоуханной деятельности, мой вам совет: в любом случае складывайте вашу любимую газету заголовком внутрь, когда собираетесь размахивать ею перед носом вашей очередной жертвы. Все! Желаю здравствовать!

— Ради бога! — умоляюще пробормотал Антошин, неизвестно зачем запихивая злосчастную газету за пазуху. — Я вам все объясню... Я честный человек...

— Не сомневаюсь, что вы стараетесь честно отработать ваше жалованье, — рассвирепел Конопатый. — Вы себе представить не можете, как вы мне отвратительны!..

Он закашлялся, харкнул на сугроб у самого входа в мебели-рашки и с такой силой захлопнул за собой дверь, что едва не прищемил Антошину пальцы.

* * *

Пятницкая встретила Антошина кислым керосиновым запахом, криками сбитенщиков, пирожников, бубличников, веселыми воплями ребятишек, скрипом полозьев вертлявых извозчичьих санок. Неторопливо трюхали по снегу, грязно-коричневому и рассыпчатому, как халва, обшарпанные линейки с пассажирами, рассажеными вдоль них, спина к спине. Чтобы согреться, пассажиры топали озябшими ногами по длинным оледенелым дощатым подножкам. Громыхая и дребезжа, их обгоняли кургузые темно-зеленые конки. Сквозь покрытые толстым слоем льда коночные окошки еле угадывались желтые огоньки сальных огарков в убогих жестяных фонарях. На открытых всем ветрам передних площадках осатаневшие от холода кучера, стараясь не особенно высовываться на мороз, пронзительно звонили в колокольчик и устало хлестали самодельными извозчичьими кнутами усталых и ко всему безразличных кляч.

У дверей обувных и галантерейных магазинов, у лавок, торговавших красным товаром, у «мужских, дамских и детских конфекционов» прохожих хватало за рукава, уговаривали, завлекали, упрашивали, улещивали, превозносили, величали почтенными, вашими степенствами, вашими пре-



подобиями, высокородиями и даже превосходительствами разбитые, голосистые и очень озябшие зазывалы.

Впрочем, Антошина никто не хватал и не улещивал.

Эх, была бы сейчас у Антошина копейка, он бы бублик купил!

А разукрашенные сияющими морозными папоротниковыми лессами витрины совсем некстати напоминали Антошину о высоких хрустальных бокалах, к которым они с Галкой так недавно, меньше месяца тому назад, приценивались для будущего своего хозяйства в магазине Главхрустала на улице Горького, нансось от «Гастронома» № 1.

На перекрестках городские, зябко втянув головы в полусложенные башлыки, грелись у костров, полыхавших прямо посередине улицы. Извозчики с ближайших бирж, в клеенчатых приземистых цилиндрах и синих ватных армяках, подпоясанных красными матерчатыми кушаками, вели с городскими подобострастные разговоры, поворачиваясь к огню то своими фасадами, то неправдоподобно толстыми задами.

По кривой, шириной в переулок Москворецкой улице Антошин поднялся на Красную площадь. Против главного входа в новехонькие Верхние торговые ряды заиндевелый бронзовый Минин указывал бронзовому князю Пожарскому на заиндевелую кремлевскую стену. Сквозь узенькую арку Иверских ворот, мимо толпившихся у часовни богомольных старушек и странников в лаптях, сквозь зычный строй нищих, базировавшихся на Иверской, он вышел на Воскресенскую площадь, которую всю жизнь знал как площадь Революции.

Отсюда через крошечную Мойсеевскую площадь с неказистой темной часовенкой, торчавшей в самом центре, круто в гору бежала Тверская улица.

А справа, сразу по выходе из Иверских ворот, новое, темно-красное кирпичное здание Городской думы... Музей Ленина!..

И тут Антошина вдруг словно током ударило. Он вспомнил, что сегодня девятое января тысяча восемьсот девяносто четвертого года!.. Как раз сегодня вечером в доме Залесской!..

Он нырнул у Лоскутной гостиницы налево, в темный, вонючий, кишезший крысами Обжорный переулок, вынырнул у сверкавшего иллюминацией Манежа. Из Манежа доносился веселый гром духовых оркестров: шло крещенское гулянье. Свернул на тихую Воздвиженку, вышел к самому ее концу, туда, где она на пересечении с Арбатской площадью и Никитским бульваром упиралась в приземистую темно-серую с белыми алебастровыми ангелочками над сводчатыми высокими окнами церковь, и слева увидел угловой каменный дом с главным фасадом на Арбатской площади. Антошин обогнул его. Бросилась в глаза вывеска «Книжный магазин Залесской «Просвещение». Это был тот самый дом, на месте которого чуть больше недели тому назад чернели за каменной оградой голые стволы молодого сада, разбитого возле кинотеатра «Художественный».

Антошин вернулся на Воздвиженку, к воротам и удостоверился, что дом этот действительно принадлежит госпоже Залесской.

Правильно. Все в порядке.

Нет, не все. А вдруг он ЕГО уже прозевал? Может быть, ОН уже прошел в дом, к сыну коллежского ассессора Кушенского?

С какой стороны вход в эту квартиру — с Воздвиженки или с площади? Спрашивать нельзя. Поинтересуются, с чего это вдруг какой-то мужичонка пожаловал вечером к его высокородию? Посмотреть разве на доску в воротах? Поздно: в воротах появился дворник! Надо поскорее убирать ноги. Еще спросит, чего ему здесь надобно, придерется... Так и есть, заметил, подлец!

— А ну, — крикнул ему дворник, — подь-ка сюда, деревня!

Антошин нехотя подошел, стараясь глядеть как можно спокойней.

— Хочешь заработать? — спросил его дворник.

— Хочу, — сказал Антошин.

— Видишь, сколько снега навалило? Приедут сейчас вывезти, а у меня рука, видишь?.. — Дворник показал забинтованную окровавленной тряпичей правую руку. — Попортил сегодня. А вывозить приказано нынешним вечером... А у меня жена в деревню уехала. Мать у нее помирает... Так как?

Знал бы дворник, что Антошин с радостью согласился бы проделать всю эту работу бесплатно, лишь бы на законном основании, не вызывая подозрений, побыть около дома Залесской хотя бы часочка два!..

— Рупь! — коротко ответил он в припадке вдохновения.

— То есть как это рупь? — ужаснулся дворник.

— Вот так, рупь... Меньше нет расчету. Время позднее. Устал... Да ты с возчиками договорись, они дешевле согласятся. А то подожди до утра, найдешь и таких, за пятиалтынный согласятся.

— Сказано тебе, сейчас требуется вывезти. Квартальный посулился оштрафовать в случае чего, — сказал дворник, пропустив мимо ушей предложение поговорить с возчиками. — Да у тебя совесть-то есть?

— Совесть есть. Денег нету.

— Возьми тридцать копеек — и по рукам.

— Ладно, — сказал Антошин после видимой душевной борьбы. — Давай полтинник.

Договорились на сорока копейках.

— Я, пока сани придут, похожу, — сказал Антошин. — А то мне зябко.

Теперь он имел законнейшее основание бродить вокруг заветного дома.

Для лучшего обзора он перешел на противоположный тротуар. За узорной железной оградой красовался затейливый, с витыми, как хала, колоннами еще не совсем достроенный морозовский особняк.

— Ты смотри, далеко не уходи! — крикнул ему дворник. — Сани вот-вот будут!

— Я только маленечко пройдуся! — крикнул ему в ответ Антошин. — Зябко же.

Было тихо и безлюдно. Только на перекрестке, на углу Воздвиженки и Большого Кисловского, подвыпивший подпоручик шерстил толстого пожилого городского за то, что тот не отдал ему честь. Городовой стоял в положении «смирно», лицо его выражало покорность судьбе, а подпоручик, пророчески потрясая руками в желтых лайковых перчатках, наскакивал на него:



— Распустились, мерзавцы!.. Ты куда, хам, глядел?

Городовой только пыхтел, держа руку у низенькой черной барашковой шапки с разлапистой, ярко начищенной бляхой.

— Никак нет, ваше благородие, я не хам-с!.. Я его императорского величества старший унтер-офицер-с!..

А подпоручик все больше расплялся. Уже стояло поблизости несколько зевак, и городовой в короткую паузу, когда подпоручик замолк, чтобы маленечко передохнуть, с его разрешения прорывчал:

— А ну, р-р-разойдись!.. Чего не видели!..

* * *

Антошин послушно отошел, повернул обратно, и у него перехватило дыхание: метрах в ста по Большому Кисловскому со стороны Большой Никитской улицы шел торопкой, упругой походкой, чуть склонив набок голову в шапке пирожком, коренастый, невысокий молодой человек в черном пальто с мерлушковым воротником.

Он!..

Антошину сразу стало жарко. Он расстегнул полушубок, вытер рукавом вспотевший лоб и пошел навстречу, не чувствуя под собой ног, с затуманенными от счастья глазами. И с каждым шагом он все больше убеждался, что не ошибся...

Он не мог больше идти. У него подкашивались ноги. Он подождал, пока молодой человек не поравнялся с ним, глянул ему прямо в его карие живые глаза (Антошин стоял под газовым фонарем) и прерывающимся голосом, с непередаваемой нежностью пролепетал:

— Товарищ Ленин!.. Здравствуйте, товарищ Ленин!..

Молодой человек остановился, с любопытством окинул его быстрым смеющимся взглядом с головы до пят. Его рыжеватая, совсем еще юношеская борода забавно вздернулась кверху.

— Ошибаетесь, мой друг. Моя фамилия не Ленин. Вы меня, вероятно, с кем-то спутали.

Ну конечно же, в девяносто четвертом году его партийная кличка была не Ленин. Кажется, «Старик». Как он это мог упустить из виду!

— Владимир Ильич! — прошептал тогда Антошин, не замечая, как по его щекам покатались слезы восторга. — Владимир Ильич, здравствуйте!..

Молодой человек осторожно глянул Антошину в глаза.

— Предположим, что меня и в самом деле зовут Владимир Ильич... Ба, да вы никак плачете! Позвольте узнать почему?

— Если бы вы, Владимир Ильич, знали, сколько лет я мечтаю увидеть вас вот таким, шагающим по улице!.. И пожать вам руку...

— Гм-гм!.. Весьма польщен, но не пойму, чем заслужил. Ну-с, а нельзя ли полюбопытствовать, почему вы именно меня приняли за некоего Владимира Ильича?

— Ульянова, — добавил Антошин.

— ...За некоего Владимира Ильича Ульянова? — уточнил свой вопрос молодой человек.

Что мог ему ответить Антошин? Не рассказывать же, в самом деле, что в ночь на только что минувший Новый год он неведомым, никак не объяснимым путем провалился в прошлое из Москвы конца пятидесятих годов двадцатого века. И что в том мире, из которого он попал в девяностые годы девятнадцатого, нет более известного и дорогого имени, чем Владимир Ильич Ленин. Антошин молчал и жадно вглядывался в бесконечно родное, чуть скуластое лицо своего молодого собеседника. Он ловил минуты. Он знал, что сразу после вечеринки в доме Залесской, на которой он вступит в спор и разгромит теоретика народничества «В. В.», Владимир Ильич уедет в Нижний и что поэтому он, скорее всего, никогда его больше не увидит.

— Я даже бывал в вашем доме в Ульяновске, — нашелся он наконец, — то есть, я хотел сказать, в Симбирске.

Это была сущая правда: в пятьдесят шестом году он ездил в экскурсию по ленинским местам.

— Мой отец еще в детстве много рассказывал мне о вас, о вашем отце, Илье Николаевиче, о вашей маме, Марии Александровне, о вашем брате Александре...

Молодой человек потемнел в лице...

— ...о его геройской смерти за народное дело, о ваших сестрах и младшем брате. Он вас очень любил, мой отец, он говорил, что...

— Он жил в Симбирске? — спросил молодой человек.

— Недолго, — ответил Антошин, и это тоже была правда, потому что Василий Кузьмич в гражданскую войну участвовал в боях за освобождение Симбирска от белых.

— Ваши родители живы?

— Умерли.

— Где вы работаете?

— Я безработный.

— Это плохо. Давно?

— Девятый день.

— Будем надеяться, что вы скоро поступите на работу: Россия переживает дни бурного промышленного подъема. Вы крестьянин?

— Рабочий. Сын рабочего. У меня дед был крестьянин.

— Скажите по совести, друг мой, только по совести — вы нуждаетесь?

— По-моему, не очень, Владимир Ильич.

— Ох, дался же вам этот Владимир Ильич!.. Так вот, друг мой, обещайте мне, что вы на меня не обидитесь. Так и скажите: «Я не обижусь».

С этими словами молодой человек расстегнул пальто и извлек из брючного кармана кожаный портмоне.

— Я не обижусь, Владимир Ильич, — покраснел Антошин, — но вы меня очень огорчите. Я еще не так нуждаюсь. У меня есть теплый угол и всегда найдется что поесть... Но я хотел бы... Можно мне позать вашу руку?..

— С удовольствием, — удивленно ответил молодой человек. — Вот вам моя рука. Я вам искренне желаю счастья... А связь с деревней, со своими деревенскими родичами вы поддерживаете?

— Я с ними даже не знаком.

— А вот это зря. Связь с деревней надо поддерживать. Вы производите впечатление вполне интеллигентного рабочего, а связь с деревней давала бы вам возможность полной разбираться в важнейших вопросах нашей жизни. Не так ли? Ну, вы меня извините. Я тороплюсь. Простите, как ваше имя-отчество?

— Георгий Васильевич.

— Итак, еще раз желаю вам счастья, Георгий Васильевич.

— И вам тоже, Владимир Ильич! — сказал Антошин.

Молодой человек улыбнулся, приветливо помахал рукой в до-машней вязаной варежке, сделал несколько шагов, обернулся, на ходу вполголоса промолвил: «А связь с деревней обязательно поддерживайте!» — пересек Воздвиженку и, видимо, на всякий случай пошел переулком в сторону Знаменки.

Антошину от сознания, что он больше его никогда живым не увидит, стало очень горько.

— Одну минуточку! — нагнал он молодого человека. — Только одну минуточку!

Молодой человек остановился. Лицо его выражало нетерпение.

— Я вас слушаю, Георгий Васильевич.

Только чтобы хоть еще несколько мгновений поговорить с Ильичем, Антошин задал вопрос, ответ на который и так был ему ясен:

— Скажите мне, пожалуйста, если человек определенно знает, что народное дело победит, даже знает, когда точно оно победит, обязан ли он включаться в борьбу за дело рабочего класса? — И Антошин довольно глупо добавил: — Вы меня не опасайтесь, я не шпик.

— Ах, вы не шпик? — проговорил молодой человек, и его лицо приняло хитрое-прехитрое выражение. — А что это за странное слово такое — «шпик»? Признаться, я такого слова сроду не слыхивал... Так, значит, вы говорите, что знаете даже точную дату, когда победит народное дело? Мне остается искреннейшим образом вам позавидовать. Правда, лично я политикой не занимаюсь...

— А надо ли, если человек определенно знает, что?..

— Конечно, надо, — перебил Антошина молодой человек, — без-ус-ловно надо. Даже, я сказал бы, тем более надо... А что касается точной даты, то я вам чертовски завидую!..

Он сделал еще несколько шагов, снова обернулся, снова бро-

сил быстрый смеющийся взгляд на теперь уже нарочно отставшего от него Антошина, прощально приподнял шапку, обнажив при этом изрядную, не по возрасту, лысину, обрамленную курчавившимися рыжеватыми волосами, крикнул: «Застегните полубух, простудитесь!» — снова махнул рукой и вскоре скрылся во мраке плохо освещенного переулочка...

* * *

Подпоручик отпустил, наконец, злосчастного городского, и тот, словно сорвавшись с цепи, зашагал по тому же переулочку, как бы вдогонку молодому человеку. И хотя Антошину было из истории партии известно, что вечер этот прошел для Владимира Ильича благополучно, ему все-таки поначалу стало жутковато.

Видимо, Владимир Ильич прошел на квартиру к Кушенскому не через ворота, а каким-то другим ходом, потому что Антошин его так больше и не увидел...

Антошин орудовал деревянной лопатой. Ему стало жарко. Он сбросил полубух, и никогда ему не работалось так легко и весело. Где-то совсем рядом, в каком-нибудь десятке метров молодой Ленин разбивал в это же самое время в пух и прах признанного и самоуверенного теоретика российского легального народничества.

Он вспомнил заученное наизусть еще в детдомовском политкружке донесение агента охранного отделения:

«...Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества «В. В.» (врач Василий Павлович Воронцов) вынул своей аргументацией Давыдова замолчать, так что защиту взглядов последнего принял на себя некто Ульянов (якобы брат повешенного), который и провел эту задачу с полным знанием дела».

— С полным знанием дела! — с удовольствием повторил про себя Антошин и только сейчас сообразил, что молодой человек за все время их разговора так ни разу и не подтвердил, что он точно и есть Владимир Ильич Ульянов, даже просто Владимир Ильич. Сообразил и даже засмеялся от восхищения, как ловко это получилось. «Конспирация!» — довольно неосторожно произнес он вслух.

— Чего? — спросил дворник, тяжело переживавший приближение расчета с Антошиным.

— Собираться, говорю, — нашелся Антошин. — Собираться мне пора. Плати, господин старший дворник, денежки. Работа исполнена в срок и полностью.

— А я тут и старший, и младший, и всякий иной, — мрачно отозвался дворник. — На, получай. Он вручил Антошину четвертак. Подумал, вздохнул и добавил пятак. — Засим, будь здоров, пиши письма.

— Так тут же всего тридцать копеек!

— А это ни по-твоему, ни по-моему. Самый что ни на есть справедливый расчет.

— Так ведь мы на сорока копеечках договорились!

— А ну, поговори у меня!..

— Ты мне зубы не заговаривай! — расвирепел Антошин. — Договорились на сорока копеечках, плати сорок!

— А вот я сейчас свистну, придет, конечно, городской, — лениво протянул дворник. — Пачпорт спросит, всякое такое...

— Эх ты! — сказал тогда Антошин. — Мало вас били таких в семнадцатом году!

— В каком, говоришь? — любопытствовал дворник.

Он понял, что спорный гривенник уже остался напрочно в его кармане, и потому настроен был сейчас более или менее миролюбиво.

— В одна тысяча девятьсот семнадцатом, вот в каком!

— Дурак! — незлобиво заметил дворник. — Не было еще такого года.

— Будет. И ты до него доживешь. Ты здоровый.

— Я здоровый, — охотно согласился дворник. — Я доживу.

Видно, кончилась вечеринка у сына коллежского асессора Кушенского. Из ворот вышли, подчеркнуто не обращая друг на друга внимания, как незнакомые, несколько молодых людей и девушек, молча разошлись. Одни направо, другие налево, двое или трое перешли на противоположный тротуар. Потом, уважительно поддерживаемый под руку студентом-универсантом, выплыл из ворот невысокий, плотного сложения пожилой человек с довольно кислым лицом. Он брюзгливо молчал, а студент что-то быстро и с некоторым подобострастием говорил ему, потрясая свободной рукой и кому-то грозясь.

«По описаниям похоже, сам господин «В. В.» собственной персоной», — не без злорадства подумал Антошин, сразу позабыв о коварном дворнике.

— А главное, уважаемый Василий Павлович... — донеслись до него слова студента.

«Он самый! — с удовлетворением заключил Антошин. — «В. В.»... С легким вас паром, Василий Павлович!..»

Прошло еще две-три минуты, и с нарочито беззаботным видом прошел мимо дворника... Конопатый, увидел Антошина и помрачнел.

«Все!.. — сокрушенно подумал Антошин. — Решит, что я шпик... Теперь уж обязательно».

Он еще некоторое время для вида переругивался с дворником, все не теряя надежды, что ему посчастливится еще раз увидеть Владимира Ильича, но так и не дождался.

«Некто Ульянов», наверное, покинул дом Залесской другим путем, не через ворота...

* * *

Антошин так и не смог даже приблизительно найти то место, где потом, шестьдесятю годами позже, раскинулся завод, на котором он работал. И место, где примерно тогда же построили дом, в котором он проживал. Даже квартал, в котором этот дом находился.

Он не поспешил на конку, барином доехал до самой заставы. Увидел неширокую шоссейную дорогу, извилистую, то в гору, то под гору, всю в ухабах. Несколько покосившихся, крытых соломой обывательских домишек. Придорожный трактор, низенький, бревенчатый, похожий на сарай и тоже под соломенной крышей, и около него, у изгрызенной серой коновязи, одино-

кие сани, как на картине «Последний кабак». Реденький лесок по обе стороны дороги, немножко отступя. Серые телеграфные столбы, покорно ухидившие к скучному, серому горизонту. Деревушка на горизонте — полтора десятка изб, и сразу за ними черная, с чуть выступающими зубчиками стена далекого соснового бора. Над бором жиденький бледно-лиловый закат. Крестьянский обоз с дровами трюхает с ухаба на ухаб, с ухаба на ухаб, будто лодки на крутой волне.

Прохрустела валенками по снегу, пересекла невидимую черту города Москвы и пошла по заваленной сугробами земле Московского уезда молодая крестьянка. Ребенок на левой руке, корзина — в правой, котомка за плечами. Вороны — как хлопья сажи над печальными пасмурными январскими полями. И еще вороны — на полосатой будке последнего представителя московских городских властей. Последнего городского. Застава: кончалась власть обер-полицейстера, частного пристава, околоточных надзирателей и городских, начиналась сфера влияния станового пристава, урядников, сотских, десятских.

Хорошо бы побывать под Москвой, там, где прошли его детские годы! Детдом помещался в старинной барской усадьбе. Съездить бы, вспомнить друзей, полюбоваться домом. Конечно, издали: в нем живут и еще четверть века будут проживать помещики. Живут, черти, и не подозревают, что когда-нибудь их деловский дом будет вызывать нежные воспоминания у Юры Антошина, у его сестры Оли, Галки, сотен других молодых советских граждан, ведущих свой род от лиц низших податных сословий. Но железнодорожный билет влетел бы в копейчку. И вдобавок туда и обратно от станции ровно шестнадцать километров. Пешочком. Автобусы и попутные машины вроде не предвидятся...

Бывает так: лишился человек на войне или в мирное время

руки или ноги. Давно уже заросла культя. Прошла тоска первых месяцев и лет. Человек притерпелся, как-то приспособился к своему вечному состоянию. И вдруг в сырую погоду, при других каких-нибудь обстоятельствах начинает у этого человека нестерпимо, до крика, болеть несуществующий палец несуществующей руки или ноги, или ноют кости, давным-давно оторванные, разможенные, отрезанные. Явление это по-научному называется фантомные боли. Говорят, с течением времени они помаленечку отступают, все реже наваливаются на искалеченного человека. И будто бы в конце концов и вовсе пропадают. У каждого человека в разные сроки.

Фантомные боли не отпускали Антошина с первых же дней его удивительной передвижки во вре-



мени. Шесть с лишним десятков лет отделяли его от родных, друзей, товарищей по заводу и институту, от среды, в которой он вырос, от строя, в котором он чувствовал себя равным среди равных, участником большого и красивого общего дела.

Первого января (по старому стилю) все связи с этим миром порвались для Антошина самым фантастическим и непоправимым образом. Но мозг его был занят мыслями и заботами об этом потерянном мире, как если бы по-прежнему нервы получали сигналы непосредственно с его завода, с его квартиры, из невыразимо, нечеловечески далекой Москвы конца пятидесятых годов двадцатого столетия.

Кого назначили вместо него бригадиром? Как бы сгоряча не выдвинули на эту работу Васюку Журавина: в полмесяца завалит все показатели. Это уже как пить дать!.. Что дома и на заводе думают о его внезапном исчезновении? Галка, наверно, убивается, винит себя. Думает, бедняга, что он сгоряча кинулся в прорубь... Его, наверно, ищут во всех моргах. Может быть, даже объявили всесоюзный розыск... Интересно, как быстро Галка придет к мысли, что Антошин пропал навсегда и сколько лет (или месяцев? Нет, не может быть, чтобы только месяцев!) потребуется ей для того, чтобы утешиться... Володька Конокотин подождет, сколько требуется для приличия, и снова начнет планомерную осаду Галки. В отсутствие Антошина он единственный перспективный претендент на ее руку и сердце... А заводской оперно-хоровой кружок горит, как свеча. Готовили, готовили первый акт «Евгения Онегина» — и вдруг за неделю до решающего выступления остаться без Онегина! Разве за неделю приготовишь замену! А ведь имелись шансы выйти на общемоосковский конкурс...

Было удивительно обидно думать, что так нелепо и безнадёжно прервалась его учеба в институте, которая стоила ему столько сил, столько бессонных ночей. Теперь ему часто снилось, будто он вместе с другими заочниками приходит сдавать зачеты, и у всех зачеты принимают, а с ним и разговаривать не хотят, потому что он не посещал обязательных лекций. А как он мог посещать эти лекции в тысяча восемьсот девяносто четвертом году? Он пытается объяснить преподавателям, но от него требуют заверенных справок о том, что он не имел возможности посещать обязательные лекции на электротехническом факультете заочного института ввиду того, что временно проживал в Москве тысяча восемьсот девяносто четвертого года. Это ж сдохнуть можно от такого формализма!..

Они возникали, эти фантомные боли, в самое неожиданное время, по самым отдаленным ассоциациям, ударяли, как током из осветительной сети, и отпускали, забываемые новыми заботами и переживаниями, которые обрушивала на Антошина старая, дореволюционная Москва.

Жил Антошин в одном мире и попал в антимир. Все наоборот. Полная и всеобщая противоположность знаков. То, что в прежнем мире Антошина существовало со знаком плюс, здесь имело перед собой знак минус, то, что он привык видеть со знаком минус, здесь имело перед собой жирный и наглый плюс.

В привычном, прежнем мире Антошина человеку до всего должно было быть дело. Здесь, в императорско-купеческом анти-

мире, над всеми его городами и весями непрерывно висел свирепый и пронзительный, как полицейский свисток, окрик: «НЕ ТВОЕ ДЕЛО!»

И как послушное, рабье эхо этого незамысловатого романса, обыватели в своих норках с хохотком отыгивали смиренно-мудрыми поговорочками: «Наша хата с краю», «Всяк сверчок знай свой шесток», «Наше дело телячье — замараем хвост, хозяин вымоет».

Но были и в этом антимире люди, которым до всего было дело.

И Антошину в этом сумрачном антимире тоже до всего было дело.

Он умер бы от унижения и возмущения, если бы не мог соединиться к этим людям.

* * *

— Помирает Конопатый, — сказала Ефросинья, растапливая печку, — уже он ситного хлеба не ест...

Стояло солнечное, удивительно теплое утро. В подвале было тихо. Степан ушел за товаром, Шурка — в Зойкины мебелирашки, к Конопатому.

Морозная роспись на окошке расплылась, потускнела, покрылась зеленовато-желтыми потеками. Тоненький снопок солнечных лучей пробился сквозь лунку, которую Шурка вчера продышала на стекле, вырвал из полумрака ясный столбик неугомонных пылинок и уткнулся в коробку с деревянными гвоздями. Гвозди засветились теплым и веселым янтарным светом. Шел двенадцатый час. Насучив для Степана впрок дратвы, Антошин собирался в город: в такую погоду грех сидеть в подвале.

— Помирает Конопатый, — повторила Ефросинья. — Для चाहоточных такая погода хуже отравы.

— Жалко, — сказал Антошин, и голос его дрогнул, — хороший человек.

— Хороший — нехороший, это мне неизвестно, — рассудительно отозвалась Ефросинья, — а душа в нем человечья... Трудно человеку одиноко помирать. Ровно собака какая. Сходил бы ты к нему до работы, а? А то с ним одна Шурка, дите. От дитя ему какой интерес — взрослому человеку?..

— Не любит он меня, — нехотя сознался Антошин, — остерегается.

— Это тебе мнится, — сказала с осуждением Ефросинья, — какой-то ты мнительный, Егор.

— Нет, не мнится, — печально отвечал Антошин.

Горько было сознавать, что ему заказан путь к единственному революционеру, с которым судьба свела его здесь, в дореволюционной Москве. Явиться теперь к Конопатому без спроса? Но это бы только отравил умирающему его последние часы...

Конопатый умирал в одиночестве. Легальными знакомыми он еще не успел обзавестись. А тем несколькими нелегальным, с которыми он познакомился на явке по прибытии из Якутска, вход к нему был заказан — за двором была установлена слежка: Сашка Терентьев замаливал свои грехи. На той неделе его нежданно-негаданно вызвали на Большой Гнезниковский, в охранное

отделение, дали понять, что дело его поправимое и чтобы он старался. Вот Сашка и старался. С утра до ночи он рыскал по двору или посиживал у ворот, коротая время с дворником Порфирием.

Но пока что Сашке не везло.

Приходила, правда, прошлым воскресеньем с кошелкой в руках какая-то беленькая барышня с суровым и милым лицом. Она спросила, где тут меблированные комнаты госпожи Щегловой. Сашка проводил ее до самого входа, распахнул перед нею обитую драным войлоком дверь и учтиво последовал за нею на второй этаж. Зойки не было. Девушке пришлось снова обратиться к Сашке, чтобы узнать, где тут проживает господин Розанов, ее двоюродный брат. На этот раз Сашка проводил ее до самых дверей, за которыми умирал Конопатый.

Он приоткрыл их и крикнул: «Господин Розанов, к вам ваша сестричка-с!» — пропустил вперед девушку и успел наметанным оком заметить, что она Конопатому не знакома.

Дверь за нею захлопнулась, а Сашка присел на корточки и прильнул синеватым острым ухом к замочной скважине.

— Воняет! — промолвил вдруг умирающий неожиданно сильным голосом. — Какая-то скотина дышит в скважину...

Сашка отпрянул от дверей, переждал несколько мгновений и снова устроился у скважины, но ничего, кроме обычных соболезнований и пожеланий скорейшего выздоровления, не услышал.

Барышня оставила Конопатому холодную курицу, картузик с конфетами «Каприз», бутылку дешевого вина, фунта два антоновских яблок, пачку чаю, фунт сахара, затем осторожно, на цыпочках, неслышно приблизилась к выходу и с силой толкнула дверь.

Сашка взвыл от боли и отлетел в глубь коридора, потирая ушибленный лоб.

— Низкий вы человек! — сказала девушка, побледнев от гнева. Дробно стуча старыми калошками, она сбежала по ступенькам во двор.

Соблюдая положенную по инструкции дистанцию, Сашка пропустил за нею.

Он не терял ее из виду, пока она спускалась по Большой Бронной. Потом она повернула на Большой Козихинский, оттуда, не оглядываясь, но явно замечая следы и все ускоряя свои шаги, свернула на Спиридоньевскую, со Спиридоньевской — на Трехпрудный, а на самом углу Благовещенского неожиданно села на извозчика и поехала по Ермолаевскому к Патриаршим прудам.

Сашка рысью помчался за нею, потому что, как на грех, больше извозчиков поблизости не оказалось. Но пока он добежал до Патриарших прудов, барышня уже давно была где-то далеко на Большой Садовой.

А сегодня, в одиннадцатом часу утра, приходил к Конопатому доктор. Молодой, краснощекий, плохо одетый. На его толстом курносом носу смешно подрагивало пенсне на черном шелковом шнурочке. Совестясь перед Розановым своего завидного здоровья, он тщательно и долго его выстукивал.

Розанов вежливо дал себя тормошить, но когда тот попытался было говорить что-то утешительное, мягко остановил его:

— Учтите, коллега, я сам без пяти минут врач... Меня взяли накануне государственных экзаменов.. Шурочка, дай дяде доктору табуреточку.

Шурка, сидевшая на облезлой клеенчатой кушетке, свесив ноги в валеночках, расшитых линиями розовыми узорами, кинулась подавать расстроившемуся доктору табуретку.

— Познакомьтесь, — сказал Конопатый, — это Шурочка, моя наперсница и милосердная сестрица.

— Очень приятно, — отвечал вконец растерявшийся доктор и легонько сжал в своей ручище Шуркину сухую и теплую ручонку.

Шурка восхищенно фыркнула.

— А если... — неуверенно продолжал доктор, — а как вы посмотрите, если мы вас в больницу?.. Может быть, даже в университетскую клинику...

— Не могу, — усмехнулся Конопатый, — у меня здесь барышня знакомая. — И снова кивнул на Шурку.

Девочка снова фыркнула и тряхнула рыжими косичками, как молодая лошадка.

— Нет, верно, коллега, — продолжал Розанов, видя, что доктор собирается настаивать, — я уж лучше здесь долежу свое. Все-таки в компании...

Он не докончил фразы, потому что Шурка вдруг подозрительно зашмыгала носом.

— Это еще что такое! — прикрикнул он на нее и закашлялся от напряжения. — Ты меня раньше времени не хорони!.. Мне еще на твоей свадьбе поплясать надо!.. А ну, подавай мне моментально чаю, а то у меня, сама знаешь, разговор короткий: чуть что — расчет, и будь здорова!

Шурка бросилась наливать чай.

— И ситного! Моего любимого! Живо!

Чтобы успокоить девочку, он заставил себя проглотить несколько глотков порядком остывшего чая и даже кусочек хлеба.

— Сережа третьего дня уехал на Кавказ, — вполголоса сообщил ему тем временем доктор, и Розанов скорбно сжал свои иссиня-бурые губы, — а тетя Маня прямо сбилась с ног, женихов ищет...

Шурка удивилась, почему эти смешные слова про тетю Маню так огорчили Конопатого, но спрашивать не стала: захочет — сам объяснит.

— Когда я вам потребуюсь... — громко заговорил доктор, но Розанов снова его перебил:

— Вы мне больше не потребуетесь... И не рискуйте собой, прошу вас. Тут все время рыщет один мерзавец, долговязый такой (Шурка догадалась, о ком идет речь, но не подала виду)... особенно сейчас, когда наших друзей... когда тетя Маня... — и он горько махнул рукой.

Доктор с тоской и нежностью с минуту всматривался в очень желтое, изрытое посветлевшими оспинками лицо Розанова, потом дрожащими могучими пальцами снял пенсне, поцеловал Розанова в покрытый холодной испариной лоб, пожал ему руку, сдавленным голосом произнес: «Прощайте, дорогой друг!», смешно всхлипнул и быстро вышел в коридор. Оттуда он, снова приоткрыв дверь, поманил Шурку.

Она выскочила в коридор. Доктор ожесточенно шарил по карманам своего пальто, пиджака и брюк, тихо приговаривая: «Ах ты боже мой, ах ты боже мой!.. Ну как назло!..»

Во всех карманах он наскреб гривен на шесть серебра и меди и сунул их в руку Шурке.

— Купишь ему апельсинов! — зашептал он, суетливо глядя ее по голове. — Апельсинов или конфет, или чего он там захочет... Понятно?

— Куплю, — сказала Шурка, по-взрослому поджав губы. — Вы не сомневайтесь... Дяденька доктор! — Она знаками попросила его нагнуться. А когда он нагнулся, она прошелестела ему на ухо, чтобы Конопатый не услышал: — Дяденька, он умрет?

— Что ты, что ты! — неумело замахал на нее руками доктор, и Шурка поняла, что Конопатый уже не жилец на этом свете.

— Только боже тебя упаси плакать при нем! — так же шепотом предупредил ее доктор.

— Скоро ты будешь совсем здоровый, — сказала немного погодя Шурка, вернувшись в комнату с покрасневшими глазами, — только тебе кушать надо побольше. Доктор говорит, будешь хорошенько кушать — совсем скоро выздоровеешь, к пасхе...

— Даже раньше, — поспешно согласился с нею Конопатый. — А кушать — этому мы сызмальства обучены... Хочешь, я сейчас зараз пуд хлеба съем?.. Только чтобы, конечно, с изюмом...

В ответ на эту очевидную шутку девочка вдруг расплакалась.

Часа через полтора Конопатый понял, что до ночи ему не дотянуть, и тогда он велел Шурке сбегать за Егором, а самой покуда посидеть дома, с мамкой...

* * *

Антошин готовился к худшему, и все же он не мог себе представить, чтобы человек мог так измениться за каких-нибудь две недели.

— Похорошел? — усмехнулся Конопатый.

— Не очень, — пробормотал Антошин, невольно отводя глаза.

— Осталось мне, брат Егор, жизни, по моим расчетам, никак не больше суток.

Антошин собрался ему возразить, но умирающий, с трудом выпростав из-под жалкого линялого одеяла страшно исхудавшие руки, досадливо чуть приподнял правую.

— Не будем зря терять время... Нам нужно потолковать.

Ему было трудно. Через каждые несколько слов он останавливался, чтобы перевести дыхание. Но почти не кашлял.

— Вредно вам разговаривать, — сказал Антошин.

— Теперь уже не вредно... Радости в этом, конечно, мало, но факт... Ты понимаешь, что такое факт?..

— Понимаю, — сказал Антошин.

— Ну вот, сам посуди: речь у тебя городская, даже интеллигентская... грамоте знаешь, слово «факт» понимаешь. — Тут Конопатый попытался сложить губы в улыбку, но улыбки не получилось. — Ко всему прочему встречаю я тебя тогда там, вечером у Арбатских ворот, когда ты снег грузил... Сам посуди, разве это не подозрительно?

Антошин в знак согласия молча кивнул головой.

— Говори спасибо Шурке... У нас тут с нею в последние дни много было о тебе говорено... Она тебе не рассказывала?

Антошин отрицательно покачал головой.

— От горшка три вершка, а слово держать умеет! — похвалил Конопатый Шурку. — Из нее настоящий человек получится... если не погонит ее жизнь на бульвар... Золотая девчушка... Не оставляй ты ее, Егор, без своего присмотра... Она тебя любит.

— Не оставлю, — обещал Антошин.

— Так вот, думал я думал и решил напоследок (Антошина резанул непривычно горький смысл, который придавал Конопатый слову «напоследок») потолковать с тобой по душам... Тем более что явок ты от меня все равно никаких не получишь... а доносков мне уже сейчас бояться вроде и не к чему... Да ты не обижайся, — сказал он, заметив, как перекосило лицо Антошина при этом невольном намеке, — дело житейское.

— Я не обижаюсь, — сказал Антошин.

С минуту Конопатый отдышал, сомкнув зеленовато-бурые, высушенные до полупрозрачного состояния веки.

Антошин тем временем поднялся с табуретки и на цыпочках направился к двери.

— Ты куда? — спросил Конопатый, не раскрывая глаз.

Антошин на цыпочках же воротился к постели и, нагнувшись к Конопатому, прошептал:

— А вдруг он нас подслушивает, Сашка?

— Доктор его увел от меня аж в Сергиев посад... Поводит его по лавре часочка два... Теперь Сашку жди часам к семи вечера, не ранее... Часов до семи у нас с тобой полная свобода...

Тут какая-то неожиданная мысль озарила лицо Конопатого. Глаза его заблестели, на острых скулах появился бледный румянец:

— Была не была!.. Хоть последние несколько часов проживу свободным гражданином!.. Дай-ка мне вон ту книжку, вторую слева на полочке!..

Антошин достал ему книжку. Конопатый полистал ее и достал вырезанный из какой-то нерусской газеты портрет... Карла Маркса! Точно такой же, как тот, который когда-то показывала своим юным «историкам-марксистам» в Музее Революции Александра Степановна. Только тот совсем пожелтел от времени, а этот был совсем свежий. Теплая волна подкатила к сердцу Антошина: перед ним был один из первых, может быть, даже из первого десятка, портретов Маркса, появившихся в России.

— Теперь, — сказал Розанов, которому этот портрет, казалось, прибавил сил, — теперь календарь побоку, а на его гвоздик наколи эту картинку... чтобы он у меня все время был перед глазами... Это был такой человек!.. Я тебе о нем сейчас расскажу...

Он снова маленько отдохнул, закрыв глаза.

— Приколел? — спросил он, все еще не раскрывая глаз. — Тогда давай, Егор, заодно откроем окно, а?.. Вынимай вторую раму... на мой ответ... Скажешь Зойке, я приказывал... Хочу дышать свежим воздухом и не бояться, что тебя подслушивает какой-нибудь царский холуй... Может, тебе обидно слышать такие слова про царя?

— Нисколько не обидно, — сказал Антошин, торопливо отдирая с краев оконных рам поотставшие от сырости полоски газетной бумаги, — чего ж тут такого обидного?

Столовым ножом он отогнул гвоздики, которыми зимняя рама была приколочена к подоконнику и наличникам, дернул ее обеими руками на себя, вынул, поставил у стенки, распахнул окно.

В комнату хлынул солнечный свет и бодрящий, совсем по-весеннему сыроватый свежий воздух. И вместе с воздухом и солнцем со двора и Большой Бронной ворвались в затхлые Зойкины мебелишки внешние городские шумы.

Восторженно визжали ребятишки, игравшие в «казаков-разбойников». Вовсю чирикали воробы. У изгрызенной деревянной конюязи возле извозчичьего трактира глухо ржали в торбы с овсом извозчичьи клячи. Звенел невообразимо высокий тенор точильщика: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» «Старье би-ре-ом!» — вопил захожий татарин с мешком на спине. На соседнем дворе шарманка, задыхаясь и ухая, играла марш лейб-гвардии Преображенского полка. Под самым окном какая-то, судя по свежему голосу, нестарая женщина рыдающим голосом попрекала кого-то невидимого и неслышного.

— Я тебе что? Я тебе, деспот, приказывала огурцы купить? А это что? Это разве огурцы? Огурцы, говоришь?! А где ихняя хрусткость, если это огурцы?.. Да тебя за такие огурцы убить мало, Мазепа проклятая!.. Молчишь?! Я тебе, ирод, помолчу! Где огурцы?.. Три копейки корове под хвост!..

Конопатый раскрыл глаза.

— Сядь поближе, — поманил он Антошина.

Антошин придвинул свою табуретку к самому изголовью умирающего.

— Так вот, — сказал Конопатый, — парень ты, кажется, честный, грамотный... и если тебе дать правильное направление, сможешь ты сослужить народу хорошую службу, благородную... Конечно, если ты хочешь добра не только себе, но и народу...

— Хочу, — сказал Антошин. — Честное мое вам слово, очень хочу.

— Можешь себе представить, Егор, будет такое время... обязательно будет, когда не станет у нас в России ни царей, ни помещиков, ни фабрикантов... Ни купцов... Никаких хозяев, которые живут чужим трудом... Чудно, а?

— Нет, почему же, — сказал Антошин, — нисколько не чудно.

— ...И вся власть будет в руках народа... И не будет неграмотных... Всех будут учить бесплатно в гимназиях и университетах... И рабочих всех, кого теперь не допускают до ученья... Хотел бы ты быть студентом, Егор? Ты не стесняйся, говори... Тут нет ничего смешного...

Ах, как Антошину хотелось сказать, что он студент-заочник, что через два с половиной года он стал бы уже инженером, если бы не эта удивительная перемена в его жизни! Но Конопатый все равно не поверил бы.

— Конечно, велик бы, — сказал поэтому Антошин. — Высшее образование — великая вещь.

— Но этого счастливого времени нельзя дожидаться сложа руки... Каждый...

Сильный приступ кашля прервал слова Конопатого.

— Я лучше закрою окошко, Сергей Авраамиевич, — предложил Антошин, — все-таки январь месяц.

— Чепуха! — прохрипел сквозь кашель Конопатый. — Хуже не будет.

С минуту длилось тяжелое молчание. Потом Конопатый с деланным безразличием осведомился:

— А тебе откуда известно, что я Авраамиевич? Меня здесь во дворе все Абрамычем величают.

Антошин понял, что проговорился и что теперь ему от объяснений не уйти.

— Сергей Авраамиевич, — начал он, сознавая всю необычайную шаткость своих позиций, — вы читали книгу «Янки при дворе короля Артура»?

— Не виляй, Егор, отвечай по существу.

— Так я же как раз по существу! Роман американского писателя Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» вам приходилось читать?

— М-м! — отрицательно промычал Конопатый.

— А «Путешествие пана Броучека в XV столетие»? Это повесть чешского писателя Святоплука Чеха...

— Откуда... тебе... известно... что мое... отчество... Авраамиевич? — надсадным голосом повторил Конопатый, уже не стараясь скрыть свою подозрительность. — При чем здесь какие-то романы?

— Очень даже при чем, — беспомощно отвечал Антошин, чувствуя, что вот-вот и кончится их запоздалая беседа. — Я вам сейчас все расскажу... Только вы мне все равно не поверите... Я бы и сам на вашем месте ни за что не поверил... Так вот, хотите — верьте, хотите — нет, но я уже давно, почти с детских лет знаю ваше имя и отчество по... Музею Революции.

— По чему, по чему? Ты яснее говори... По какому такому музею?

— По Музею Революции, Сергей Авраамиевич...

Гар-да-вой, гар-да-вой,
От-види меня домой! —

восторженно орали под окном ребяташки, —

Мой дом на га-ре,
Три а-кош-ка на два-ре!

— Теперь, ежели ты такие огурцы покупаешь, Мафусаил же-ребячий, — звенел прежний женский голос, — то как же тебя, змей подколотный, можно теперь за колбасой, скажем, посылать или за требухой?.. Значит, я тебе деньги даю, а ты...

— Прикрой окошко, — сказал Конопатый, — мешают.

Антошин с совершенно убитым лицом выполнил его просьбу.

— Музей, значит, Революции? — медленно переспросил Конопатый. — Это в охранном отделении?

— Что вы! — воскликнул Антошин. — Это самый честный, самый настоящий, революционный Музей Революции!

— Так, так!.. И где же он, этот удивительный музей, помещается?

— Он... Он еще не помещается, Сергей Авраамиевич!.. Господи, как бы мне это вам объяснить, чтобы вы хоть немного поверили?.. Вы понимаете, он еще только БУДЕТ помещаться... В здании нынешнего Английского клуба, тут совсем рядом, на улице Горького, то есть, я хотел сказать, на Тверской...

— Будет помещаться? — слабо усмехнулся Конопатый. — Утешаешь, значит?

— Да нет же, честное мое слово, не утешаю... Я бывал в нем по крайней мере раз двадцать... Он будет там помещаться с тысяча девятьсот двадцать второго года... Вы только меня, пожалуйста, не перебивайте!.. Послушайте меня спокойно несколько минут... Я бы сам не поверил, но что я могу поделать, если это факт!.. Там, в Музее Революции, на втором этаже, в отделе «Марксистское движение девяностых годов XIX века», висит, то есть будет висеть, ваша фотография и краткие биографические сведения... Пожалуйста, прошу вас, Сергей Авраамиевич, не перебивайте меня еще несколько минут, а потом спрашивайте... Там будет написано, я вам сейчас прочитаю эту надпись наизусть, у меня отличная память... Одну минуточку, я сейчас вспомню в точности:

«РОЗАНОВ СЕРГЕЙ АВРААМИЕВИЧ. Родился в 1868 году в Гжатске Смоленской губернии, в нищей семье пономаря. Учился в Смоленской духовной семинарии, исключен из нее за «гордыню». Участник Московского народовольческого кружка Н. А. Соколова. В 1888 году в результате провокации члена этого кружка А. Колчинова...»

Конопатый, нетерпеливо слушавший его с закрытыми глазами, широко раскрыл их и с ужасом уставился на раскрасневшегося от возбуждения Антошина.

— Ты что?! Санька Колчинов — провокатор?

— Честное слово, Сергей Авраамиевич, там так написано, то есть будет написано...

— Там так и сказано — Александр Колчинов? — с неожиданным бешенством переспросил Конопатый и так пожелтел, что Антошин испугался, как бы он в эту самую минуту и не умер.

— Там написана только буква «А» — инициал... Буква «А» — и все. — Так вот, — продолжал Антошин, торопясь, чтобы Конопатый его не перебил, — там так написано:

«...в результате провокации члена этого кружка А. Колчинова был арестован и сослан на пять лет в Якутскую губернию. Вернувшись из ссылки в Москву, вскоре примкнул к марксистам. Один из участников знаменитой вечеринки в доме Залесской, на которой Владимир Ильич Ленин выступил против видного теоретика народничества «В. В.». Умер в Москве в...»

Антошин понял, что проговорился: на табличке, о которой шла речь, было сказано, что Розанов умер в 1894 году.

Он запнулся, еще больше покраснел и, стараясь избежать иронического взгляда Конопатого, пробормотал:

— Забыл!.. Подумать только, ей-богу, забыл!.. Кажется, в тысяча девятьсот восьмом, нет, в тысяча девятьсот девятом году...

Его стремление скрыть истинную дату было столь очевидно, что Конопатый уже более мягким тоном заметил:

— Так-с, друг мой ситный! Первая явная неточность уже налицо. Сергей Авраамиевич Розанов, насколько ему лично известно, отдаст богу душу не то двадцать восьмого, не то двадцать девятого января сего тысяча восемьсот девяносто четвертого года... Теперь сознавайся, соврал?

— Соврал, — признался Антошин после короткой паузы. — Не хотел вас огорчать. Но остальное все правда... Ведь я уже несколько дней все обдумываю, как мне вам всю мою удивительную историю так рассказать, чтобы вы мне, ну, хоть наполовину поверили... Предположите себе на минуту самое мерзкое: что я к вам подослан охранкой и что я такой хитрый, что нарочно не навязываюсь к вам в знакомые и спокойно жду, авось вы меня пригласите в самые последние минуты своей жизни. Какой смысл в таком агенте охраны? А я ведь у вас ничего не хочу выпытывать. Я, наоборот, хочу вам все рассказать... Надеюсь, я на вас не произвожу впечатления сумасшедшего?

Розанов отрицательно мотнул головой. Его лицо выражало безусловный интерес.

— Вы понимаете, Сергей Авраамиевич, я ведь вас совсем неспроста спрашивал про «Янки при дворе короля Артура» и «Путешествие пана Броучека в XV столетие». Там как раз описаны случаи вроде моего. У Марка Твена один американец попадает из конца XIX века в самое раннее средневековье, ко двору короля Артура, а у Святоплука Чеха один пражский домовладелец, типичный такой буржуазный либерал, непонятным путем попадает тоже из конца XIX века в Прагу времен гуситских войн. Но вы их еще не могли прочитать, потому что они еще не переведены на русский язык, а может быть, еще даже не написаны... Простите меня, я так волнуюсь!.. Так вот, поверьте мне, Сергей Авраамиевич, я нисколько не выдумываю: про тех героев писатели сочинили, а я действительно попал в Москву тысяча восемьсот девяносто четвертого года из Москвы самого конца пятидесятих годов двадцатого века, из социалистической Москвы...

Он кинул быстрый взгляд на Розанова. У того губы расплылись в снисходительной и добродушной улыбке.

— Не верите? — воскликнул в отчаянии Антошин. — Думаете, что я вам сказки рассказываю, утешаю, развлекаю, так, что ли? Нет, вы скажите, так, да? Да, я хочу, я очень хочу, чтобы вам было утешением в вашей ранней и обидной гибели то, о чем я вам рассказываю, потому что это суцзя правда! Правда, правда, правда!.. Подумайте сами, может ли все, что я вам расскажу, придумать человек, даже самый гениальный? А ведь я очень обыкновенный, самый наибоыкновеннейший советский человек, обыыкновеннейший парень, москвич социалистических шестидесятих годов двадцатого века... Я понимаю: прямых

доказательств моих слов у меня нет и быть не может. Я сам ума не приложу, как это все со мною приключилось. Я только помню, что в ночь на Новый год я пошел в кино «Новости дня»... Ах да, ведь вы понятия не имеете еще, что такое кино! Ну, в общем это нечто вроде театра такого, в котором показываются движущиеся картины, в данном случае это неважно. И вот я выхожу после последнего сеанса во двор, и это вдруг оказывается наш теперешний двор, и я попадаю прямо в мастерскую к Степану Кузьмичу... Нет, я вижу по вашему лицу, что я не о том говорю, что надо... Хорошо, у меня нет прямых доказательств, но я вам выложу сколько угодно косвенных. Мало кто знает еще пока в России, когда родился и умер Карл Маркс. Хотите, я вам скажу? Он родился в 1818 году в Германии, в городе Трире, а умер одиннадцать лет тому назад в Лондоне. Фридрих Энгельс родился в 1820 году. Он еще жив... Я могу вам перечислить основные сочинения Маркса: «Капитал» — три тома, «К критике политической экономии», «Гражданская война во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Нищета философии», глава о политической экономии в «Анти-Дюринге» Фридриха Энгельса... Ой, чуть не забыл про «Коммунистический манифест»! Они его написали вместе с Энгельсом...

— А как он начинается? — прошептал Конопатый, не раскрывая глаз.

— Кто он?

— «Коммунистический манифест».

— Пожалуйста! «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма... папа и царь, Меттерних и Гизо...» — дальше наизусть не помню, — смутился Антошин.

— А какими словами он кончается?

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Какие слова! — прошептал Конопатый. — Какие слова!..

* * *

В мебелированных царилась обычная полуденная тишина. Жильцы разбрелись по своим делам. Только в номере напротив лениво и фальшиво на каждом шагу тренькал на мандолине господин Колесов, еще не старый мужчина с очень черными, слишком даже черными усами на очень белом, испитом лице банщика. Его деловое время приходилось на более поздние часы: он был шулер.

— Сергей Авраамиевич! — продолжал Антошин. — Вы только подумайте: ведь если человек может со всеми подробностями, со всем бытом, со всей его историей описать будущее, совершенно небывалое общество, то такой человек должен быть совершенно исключительным, гениальным мыслителем... А теперь вы посмотрите на меня, хорошенько посмотрите. Разве я похож на мыслителя, да еще гениального?

Конопатый слабо усмехнулся.

— Ну, вот видите! — обрадовался Антошин, как если бы он только что выслушал в свой адрес самый лестный комплимент. — Хотите, задавайте мне какие угодно вопросы? Или лучше, может, я вам для начала сам расскажу? Хотите, я вам расскажу

про товарища Ленина? — Конопатый недоумевающе глянул на Антошина. — Вы его знаете, Сергей Авраамиевич. Тот самый молодой петербуржец, который тогда, на вечеринке у Арбатских ворот, разбил в пух и прах народника «В. В.»

— Умница этот петербуржец! — прошептал Конопатый, снова закрывая глаза. — Золотая голова!..

Торопливо, сам себя перебивая, страдая от своего косноязычия, от сознания, что всего не расскажешь, потому что не хватит ни времени, ни знаний, Антошин стал рассказывать Конопатому о Ленине, о партии, которую Ленин создал, об Октябре семнадцатого года, о революциях и великих сдвигах, которые Октябрь вызвал во всем мире...

Конопатый слушал его, не перебивая, не задавая вопросов, словно боясь вспугнуть и рассеять добрую волшебную сказку. Он лежал, придавленный к тощему тюфячку жиденьким одеялом, старым студенческим пледом и засаленным полушубком своего удивительного гостя.

Когда стало совсем холодно, Антошин с согласия Конопатого закрыл окно. Жарко натопленная голландская печка (спасибо Нюрке — добрая душа!) постепенно снова нагрела комнату, быстро погружавшуюся в ранние зимние сумерки. Потом окна во флигеле напротив загорелись золотыми закатными огнями, и в комнате стало совсем темно. Антошин засветил лампу. Запахло керосином и копотью.

Конопатому стало жарко. Антошин снял с него полушубок и плед. Лицо Конопатого, все в мелких капельках пота, порозовело. А его карие калмыковатые глаза заблестели по-молодому ярко, свежо, как спелые арбузные косточки. Но слушал он, опустив веки, тихий-тихий. И очень важный. Иногда Антошину казалось, что Конопатый заснул. Он замолкал, и тогда умирающий с трудом раскрывал глаза:

— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай!..

Случалось, что Конопатый и в самом деле забывался в коротком сне. Антошин замолкал и терпеливо ждал. Проходило десять-пятнадцать минут, и снова раздавался хриловатый шепот:

— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай!..

Когда это случилось в шестой или седьмой раз, Антошин сказал:

— Сергей Авраамиевич, меня всю жизнь звали Юрой. Если вы мне верите, называйте меня Юрой.

— Рассказывай, Юра, рассказывай! — промолвил Конопатый неожиданно громко и ясно, и тут Антошин, как ни старался держать себя в руках, не выдержал и разрыдался.

— Поверили!.. Наконец-то вы мне поверили!..

— Дай мне твою руку, Юра! — тем же ясным голосом продолжал Конопатый и уже больше так и не выпускал ее из своей горячей и влажной ладони.

* * *

Все чаще и чаще он впадал в забытие. Глаза его то мутнели, то снова становились ясными, живыми, пронзительными. Антошин смотрел в них с тоской и нежностью и никак не мог определить, видит ли его умирающий или нет.



Он шел на Одессу, а вышел
к Херсону, —

продолжал Антошин, не замечая, что поет уже во весь голос, —
В засаду попался отряд.
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат...

Он пел, не отрывая глаз от Конопатого. Конопатый лежал, плотно закрыв веки. Челюсти были стиснуты крепко, как у солдата, который вот-вот пойдет в атаку. Антошин смотрел на

Немного поразмыслив, шулер переложил мандолину из правой руки в левую и тоже перекрестился.

Страшась Шуркиных расспросов, Антошин, минуя подвал, прошел прямо на улицу.

На Страстной уже шипели чуть зеленоватые огни газовых фонарей. На базаре перед монастырем запоздалые мужики торопливо запрягали застоявшихся лошадей с торбами на шеях в заваленные соломой розвальни.

Далеко-далеко, за Тверской заставой, догорал неяркий зимний закат в черной и толстой раме Триумфальных ворот. Где-то, по-видимому, у самого поворота со Страстной на Малую Дмитровку, сварливо гудел паровичок, обдавая тучами сажи пассажиров всех четырех своих вагончиков. Москва жила обычной вечерней жизнью. Тротуары кишели прохожими разного чина и звания. Трюхали ваньки, гремели бубенцами тройки, пары с отлетом. С гиком, обдавая прохожих комьями грязного снега, пронеслись лихачи. Гудели колокола Страстного монастыря, Дмитрия Солунского, на Богословском, на обеих Дмитровках, на Никитских.

И никто-никто не знал, кроме Антошина, что совсем рядом, на Большой Бронной, в меблированных комнатах вдовы старшего унтер-офицера Четвериковой Зои Федоровны только что навсегда закрыл свои орлиные очи один из тех людей, кому всегда будет благодарна будущая великая, свободная и могучая Россия.

Уже поднимались по скрипучим ступенькам в Зойкины мебелированные полицейские чины, чтобы удостовериться, что государственный преступник Розанов Сергей Авраамиевич, из духовного звания, имевший от роду двадцать шесть лет и два месяца, действительно умер, и составить на сей предмет надлежащие документы за надлежащими подписями и печатями. А он лежал под убогим одеялом на убогой деревянной кровати, со спокойным, гордым и счастливым лицом человека, который точно знал, что не напрасно прожил свою короткую жизнь...

Автор этих строк желал бы себе такой же счастливой смерти.



БОРИС ЗУБКОВ,
ЕВГЕНИЙ МУСЛИН



Немая Исповедь

Фантастический рассказ

/

«18 февраля 19.. года. Кража в библиотеке. Доктор Марио Бетета, хранитель архива в Национальной библиотеке, сообщил нашему корреспонденту: сегодня ночью неизвестные злоумышленники похитили алфавитную картотеку изобретателей, зарегистрированных в патентном ведомстве за последние пятьдесят лет. Два ящика с именными карточками, весом в тридцать пять фунтов каждый, вынесены через пролом в наружной стене между двенадцатью и часом ночи, после первого обхода дежурного сторожа. Доктор Марио Бетета сетует на скудость правительственных ассигнований, не позволяющую устроить в здании библиотеки надежную сигнализацию. Похитители пока не найдены».

«21 мая 19.. года. Убит выстрелом в сердце сеньор Убико Хорхе. Вдовец 54 лет, он жил одиноко в своем доме на Прасаду Комерсио. Убийство по личным мотивам — ревность, нарушение брачного обещания и т. п. — крайне маловероятно. По мнению экспертов, несчастного застрелили из винтовки фирмы «Голланд и Голланд» с оптическим прицелом. Уже после кончины злодеи тщательно обрили голову трупа и смазали ее какой-то сильно пахнущей мазью. Цель подобных манипуляций абсолютно непонятна и загадочна. Сеньор Убико Хорхе известен своими крупными инженерными работами в химической промышленности. Его последнее изобретение, работу над которым прервала смерть, должно было принести немалую прибыль

фирме, ценнейшим специалистом которой являлся покойный. В некоторых, обычно хорошо информированных кругах убийство Хорхе связывают с весьма загадочными исчезновениями еще двух наших видных изобретателей...»

//

— Ради бога, посмотрите, не идет ли по левой аллее человек в синем плаще? У вас молодые глаза, вы видите далеко. Да не так, черт возьми, не оборачивайтесь! Я научу вас, как надо смотреть. Разглядывайте облака, смотрите вверх и поворачивайте, медленно поворачивайте голову... Теперь один взгляд, только один, вниз и наискосок... Вот так.

— Аллея пуста.

— Значит, у меня двадцать минут передышки. Я хорошо научился следить за тем, что происходит за моей спиной. Тысячи приемов. Годятся витринные стекла, зеркала парикмахерских, даже полированные двери. Особенно удобны окна в вагонах подземки... Что я болтаю. Не обращайтесь на меня внимания. Я просто болен, да, болен... Смотрите, смотрите. Нет ли поблизости полицейского с маленькими рыжеватыми усиками?

— Вы боитесь полицейских?

— Не всех. Только того, кто с рыжими усиками. Он тоже один из этих. Что там чернеет?.. Куда вы смотрите... Вон там, между двумя кустами.

— Это всего лишь решетка парка.

— Не стоит ли за ней автомобиль?

— Если вас действительно преследуют, то проще оставить машину за углом, а не выставлять ее напоказ.

— Вы младенец. Так удобнее стрелять.

— Понимаю. У вас в карманах весь наличный золотой запас Национального банка? В слитках или монетами?

— Плохая шутка. А теперь идите, идите. Проваливайте!

— Давно ли вы купили эту скамейку, сеньор? Почему вы не повесили на ней плакат «Частная пристань»?

— Если вы хотите поджариться на костре, разожженном для другого, оставайтесь.

— Я неплохо боксирую, и во мне двести фунтов. Я остаюсь.

— Спасибо. Видимо, ваше благородство простирается настолько далеко, что вы даже не потребуете от меня никаких объяснений?

— Мало держать в руках бутылку, сеньор, надо еще ее раскупорить. Хотя кое-что узнать бы не мешало...

— Говорят, черт, набравшийся опыта, лучше неопытного ангела. То, что я на вас вылью, мой юный друг, превратит вас в дюжину чертей. Не расстаться ли нам, пока не поздно?

— Сеньор, вы опасаетесь человека в синем плаще? Он здесь. Прячется за каштанами, что растут на том берегу пруда.

— Они измучили меня.

— Идите налево, к выходу. Быстро! Я буду все время сзади...

— ...Теперь мы спустимся по Руа да Прата в гавань.

— Я предпочел бы переулки.

— Руа да Прата похожа на базар. В толпе легко затеряться. А не доходя до гавани два квартала, свернем в переулок. Если вы уж так обожаете переулки...

Они шли мимо магазинов, нестерпимо блестящих зеркальными стеклами, мимо кафетериев, пытавшихся уйти в редкую тень пальм и олеандров. И хотя потянувший с моря бриз проветрил улицу, жара испепеляла. На перекрестках, открытых солнцу, полицейские-регулирующие обливались потом в своих мундирах из толстого серого сукна. Чистильщики обуви запрятались глубже под пестрые навесы. Город плывал в растопленном масле желтого зноя. Только двое случайных знакомых не замечали жары.

///

— Зачем вы привели меня сюда? Последний этаж — это опасно. Вероятность того, что призывы о помощи услышат соседи, уменьшается вдвое. Ведь над нами никого нет, кроме тех, кто любит устраивать засады на чердаках. И вообще это звучит неприятно — последний этаж, последний этап, последний шанс...

— Вы совсем псих. Кажется, я зря с вами связался.

— Конечно, зря. Абсолютная истина в последней инстанции — зря! Я буду преподносить вам одну пилюлю за другой. Вот первая, хорошенькая, ароматная пилюлька — я обокрал покойника! Как вам такое понравится?

— Сколько же монет вам удалось выудить из его карманов?

— Я выудил самое ценное — то, что было в его голове.

— Боюсь, сеньор, что у вас припасено много историй. Лучше я приготовлю полную кастрюльку кофе, и мы поболтаем не спеша. А то ваши слова прыгают, как зубья пилы по железному дереву. Сюда никто не заявится, уверяю вас. Домовладелец почему-то вбил себе в голову, что я служу в тайной полиции, и боится меня, как сатаны. Исчезаю, сеньор! Иду делать кофе. Я стряпаю его так, что потом сердце выпрыгивает из ушей...

— Действительно, отличный кофе. И портвейн из Алентежо! Они воскрешают меня. Так вот — я обокрал покойника. Он был моим лучшим другом, мы когда-то вместе учились в Кويمбрском университете, хотя и на разных факультетах. Мой друг Акилино всю жизнь что-нибудь изобретал. Зарабатывал неплохо. Последнее время его интересовал новый способ получения электрической энергии. Кто-то догадался вычерпывать электричество из струй раскаленных газов. Величайшее изобретение со времен Фарадея. Вы знаете, кто такой. Фарадей?

— У него большая фирма, сеньор?

— О бог мой! Ваше невежество искупается только вашим кофе. Если можно, еще чашечку... Акилино сумел получить энергию этим новым способом. Но его установки давали только постоянный ток. Акилино для каких-то таинственных целей нужен был переменный ток. Он и меня сумел заразить своими идеями. Потом Акилино тяжело заболел. Все знали, что он скоро умрет. Однажды вечером я вернулся от него домой сильно опечаленный. Тогда я не бродил по чужим чердакам, а жил на Руа да Сура в хорошем старинном доме. В квартире, кроме меня, ни души. Тихо, словно в склепе. Вдруг я услышал, как останавливаются мои часы. Тикают все тише и тише, будто испугались собственных звуков. Раздалось последнее тиканье, и я внезапно увидел решение проблемы, которая так мучила

Акилино. Догадка возникла в мозгу внезапно, как вспышка молнии. Я понял, почему поэты говорят: «Меня озарило!» Действительно, озарение, вспыхнувшая звезда, сноп искр — все что хотите в подобном роде. Я посмотрел на часы, стрелки застыли на девяти часах тридцати минутах. Потом я узнал, что Акилино скончался в девять часов четырнадцать минут. Совпадение? Как бы не так! Я обокрал покойника — вот правда. Несчастный все время размышлял над проклятым вопросом, он не давал ему покоя до последнего вдоха. Предсмертная агония — и одновременно взрыв гениальных догадок! Вы понимаете, в последнем рывке мозг испепеляет сам себя... Смотрите, смотрите, ваши часы остановились! Кто-то умер... Они убили еще одного... Я знаю...

— Успокойтесь, сеньор. Моя неаккуратность, не завел вовремя свой будильник...

— Когда Акилино умер, часы остановились. Почему? В этом что-то есть... Налейте мне еще вина... О чем я говорил? Да, предсмертные взрывы в мозгу. Факелы протуберанцев. Пламя от последней вспышки обжигает и чужой мозг. Разумеется, не всякий. Только тот, кто настроен в унисон с мозгом бедняги. Если они думают об одном и том же, между ними протягивается незримая связь, хрупкая, как нить из лепла. Она держится мгновение и рассыпается в прах. Этого мгновения достаточно, чтобы передать самое важное. Я поймал последнюю мысль Акилино и воспользовался ею. Потом получил патент на изобретение, сделанное мертвецом, и присвоил его себе. Грудю золота за патент никто не дал, но кое-что я выручил. Вот так я обокрал покойника. Нравится?

— Запутанная история. Еще вина?

— Наливайте... Потом я подумал: не может быть, чтобы последняя отчаянная вспышка сознания не оставила следа в самом умирающем мозгу.

— Неужели мысли застревают в мертвой голове?

— Мозг живет и после смерти. Недолго. Несколько минут. Он угасает, как керосиновая лампа, в которой кончился керосин. Когда у меня появились деньги, я купил небольшую лабораторию. Даже нанял двух специалистов. Мы сумели сделать аппарат, который вылавливал в умирающем мозгу шорохи жизни. Биохимический усилитель. Чудовищно чуткий прибор. Отзывался на самые тонкие химические реакции, сопровождающие каждую мысль, анализировал ионные потоки в нервных клетках и тому подобное. Кое-что нам удавалось подслушать через сутки после смерти. А какие шквалы бушевали в мозгу в момент агонии!

— Откуда же вы брали покойников? Или?.. Нет, не может быть! Вы убивали? Вы убийца, а я вас прячу, защищаю. Идиот! Сколько вы убили ради своих гнусных опытов?

— Ни одного. Мы заключили контракт с Национальным биологическим музеем. В мое распоряжение поступали сотни разных животных, от полевой мыши до обезьянки уистити.

— Лжете! Для таких опытов животные не годятся. Это даже я понимаю. Что могли вы отыскать в мышиних или собачьих мозгах? Вам нужны были люди. Самые умные люди для самых ужасных опытов, будь я проклят...

— Не горячитесь. Неужели теперь нужно успокаивать вас?



Рисунки В. НЕМУХИНА
и В. КОВЕНАЦКОГО

Поймите: я не болтаю, — я исповедуюсь в ожидании последнего часа. Врать бесполезно и унижительно. Каюсь, мы не жалели животных. Обливали их крутым кипятком, забивали железными прутьями до смерти, оглушали током. Необходимо было добиться, чтоб в их сознании оставались яркие впечатления...

- Ничего себе — впечатления от железных прутьев! Извергии!
- Мы говорили более мягко — острый опыт.
- Представляю себе, как они орали...

— Ни звука. Особая операция горла. Лаборатория — царство тишины, шум раздражает... Кто-то крадется!..

— Моя соседка. Мы зовем ее Ночничок. Она всегда уходит на работу, когда темнеет. Извините.

— Она не могла подслушать?

— У нее свои заботы, сеньор.

— Два года мы исследовали, что творится в головах четвероногих. Настал день, когда электронный скальпель должен был коснуться разумного мозга...

— Вот видите!

— Замолчите! Я был тогда в каком-то исступлении, исследовательская горячка трясла меня, я готов был принести в жертву собственную голову. Но нам было нужно много голов...

— О дева Мария, и вы так спокойно толкуете об этом! Откуда же вы их взяли, эти головы? Поступили сторожем в морг?

— В морг привозят слишком поздно. А мы хотели исповедовать мертвый мозг сразу после предсмертной исповеди его еще живого владельца. Мы должны были идти по путям за исповедующим священником. Так и сделали...

— Церковь не простит вас.

— Она поддержала нас. Один из специалистов, работающих в моей лаборатории, оказался активным деятелем «Пакс Романа» — союза католиков-интеллигентов. Мы сошлись на том, что «Пакс Романа» получит сорок процентов возможной прибыли. Они исповедуют душу, мы — тело.

— Разве мысли можно продать?

— Они ценнее золота. Разумеется, не все. Нас интересовали люди одержимые, посвятившие всю жизнь решению какой-либо проблемы. Главным образом это были изобретатели. Мы составили обширную картотеку и подстерегали их последние дни. И даже чаще, чем мы думали, этих одержимых в последний момент озаряла гениальная догадка. Наш аппарат улавливал сверхъестественно яркую вспышку сознания и расшифровывал ее. Охота за идеями оказалась удачной. Теперь они охотятся за мной.

— Вы их обманули? Утаили прибыль?

— Утаил свои мысли. У меня тоже есть своя главная идея. Сокровенная и могущественная. Она нужна им. Они поклялись добыть ее любой ценой. Я знаю, как все произойдет. Меня убьют выстрелом в сердце. У них отличные снайперы. Потом в комнату ворвутся двое или трое. Они будут очень спешить. В руках у одного будет металлический колпак. Термоэлектрическим ножом они сожгут волосы у меня на голове — так быстрее, чем брить. Намажут голову вонючей электропроводящей пастой и наденут колпак. За это время другой подготовит записывающую аппаратуру.

— Так не будет. Мы сейчас же отправимся к окружному прокурору, он спрячет вас.

— Спрячет? Предоставит убежище в тюремной камере? Тогда меня убьет не снайпер, а каторжник, которому пообещают за эту крохотную услугу шикарный побег. А тот, с колпаком, примчится в камеру под видом тюремного врача.

— Мне жаль вас. Вы попались в собственную западню. У вас есть деньги?

— Девять тысяч эскудо. Ровно столько, сколько стоят похороны на кладбище Алто де Сан-Жоан.

— Долой похороны! Слушайте внимательно. У меня есть друзья, студенты-медики. Мы поедем в Центральную больницу, в отделение для бедняков. Там вас зарегистрируют, знакомые студенты — они всегда дежурят по ночам, собачья вахта не для настоящих врачей — найдут у вас смертельную болезнь и отправят в госпиталь святой Евлалии. Но до святой Евлалии доедет только регистрационная карточка. За пару тысяч эскудо тамошний регистратор переложит карточку в ящик умерших и выдаст мне свидетельство о вашей смерти. С таким свидетельством я смогу официально оповестить кого угодно о вашей скоростижной кончине. Словом, вам проштемпелюют билет на тот свет, но вы останетесь от поезда. Ловко?

— А дальше?

— Начнете жить заново под другим именем. Соглашайтесь, сеньор. Мы уже однажды проделали такой трюк с одним моряком, удравшим с военного корабля. Теперь он обзавелся новыми документами, плавает под чужим флагом — и счастлив.

— Новые документы? Бумажки! А кто даст мне новую жизнь? Все кошмары последних лет останутся внутри меня. Старые язвы в новых лохмотьях — вот что вы мне обещаете... Я совсем пьян...

— А я спускаюсь вниз, чтобы позвонить из кафе в Центральную больницу.

IV

В отделении для бедняков процедура осмотра похожа на ленивую игру со строгими правилами. Два-три вопроса, ответы на которые почти не слушают, и кивок в сторону санитаря. Тот записывает фамилию, сердится на нерасторопность больного и выдает ему штаны с кургузой курточкой без пуговиц. Сегодня большинство больных направляют в госпиталь святой Евлалии. Туда они должны прибыть уже в больничной униформе, и поэтому всехкупают здесь в грязноватых ваннах. А на дворе их ждет маленький облупленный автобус. Впрочем, кто же-лает, может добираться самостоятельно...

— Сеньор презабавно выглядит в этой курточке.

— Я сам себя не узнаю. С меня содрали что-то большее, чем костюм. И ничего не дали взамен.

— Вы получили надежду! О-ля-ля! Она чего-нибудь стоит!

— Откуда у вас такая роскошная машина?

— Ухажер сестренки так расчувствовался, что дал мне эту карету на пару дней. Не машина, а дракон. Жрет бензин и километры, словно хочет получить первый приз на конкурсе обжор.

— Я вижу, вы привыкли держать в руках руль.

— Возможно... Сейчас в госпитале святой Евлалии вас регистрируют как покойника. Умора!..

— Завидую людям, которых веселят пустяки.

— Разве ваша собственная жизнь, сеньор, это пустяк?

— Сами видите, какой я жалкий трус. Вот и цепляюсь за жизнь. А достоин казни.

— Ну-ну, сеньор, не так мрачно!

— Вы знаете не все. После того как мой аппарат заставил говорить мертвых, дельцы из «Пакс Романа» взбесились. Торговля гениальными идеями оказалась слишком прибыльной. Они больше не хотели дожидаться естественного конца какого-нибудь дряхлого гения. Их агенты вооружились бесшумными револьверами и моими аппаратами. Они даже не нарушали тайну исповеди — я помог им исповедовать этих несчастных уже после смерти. Они прикончили Убико Хорхе. Это был гениальный изобретатель. И мой брат. Брат... Я виновен. Но кто мог предвидеть такой кошмар?.. Куда вы меня везете?

— Мы поедем вдоль Тахо до Абрантиша. Там по железнодорожному мосту перескочим через реку и отправимся в долину Мондегу. Моя родина, сеньор! В долине сейчас цветет миндаль. Но к Абрантишу лучше подъехать днем. Полицейские, как филины, — ночью зорче...

Они свернули с шоссе и остановили разгоряченную машину в изломанной тени двух низкорослых пальм.

— Выпьем, сеньор, за цветущий миндаль и наши успехи!

Стаканы пахли бензином.

— Хотел бы я знать, сеньор, о чем вы сейчас думаете.

— Не вы один норовите залезть в чужую голову. Генералы не доверяют ученым, промышленники только по необходимости терпят специалистов. А знаете, почему? Никто не знает, сколько мыслей производит твоя голова за день! Десять, сто, тысячу? Это злит всех, кто покупает твое время. Их мучают сомнения: все ли свои идеи и соображения ты отдал? Не утаил ли чего? Если бы они могли просто купить фунт догадок, тонну идей! Продается тонна идей! Постоянным клиентам скидка! Комиссионных только два процента! Спешите! Идеи гениальные, что удостоверяется клеймом окружного инспектора!.. Что вы озираетесь? Вы кого-то ждете?

— Никого.

— Да, то, что в голове, — это самое ценное. Так что будьте спокойны — они заставят нас выложиться полностью. Выпьют и высосут все мысли. Все до единой! Тогда и электронным мозгам найдется занятие. Машины разложат наши несравненные идеи по классам, очистят от шелухи, скомбинируют. Живая мысль — полуфабрикат для электронных мозгов. Великолпно! У меня много таких забавных идей. Я обманул «Пакс Романа», я скрыл свое главное, самое восхитительное изобретение! Я усовершенствовал свой аппарат. Теперь не надо никого убивать. Можно высасывать гениальные идеи у живых. Вот за чем они охотятся! Крупная добыча!

— Грязная обезьяна! Значит, ты и в самом деле утаил от нас такую замечательную штуку?

— От кого — «от нас»? Кто ты?.. А-а-а... Ловушка! У тебя в кармане свидетельство о моей смерти. Я уже мертв?.. Мерзавец...



— Эй, что вы делаете?! Отдайте револьвер! Эй!.. Проклятье, он убил себя...

В ответ на призывный свист вспыхнули фары еще одной машины, прятавшейся до той минуты в каштановой роще.

— Сюда, ребята! И спрячьте свой дурацкий аппарат. Здесь он не пригодится. Этот выстрелил себе в голову. Сами видите...

Рисунок заслуженного
мастера спорта СССР
В. САФРОНОВА

Возьми себя в руки, старик!

1

Теперь он спокоен и уверен в себе. Когда он бежит, то всегда спокоен и почти счастлив. Солнечные пятна на лесной песчаной тропинке — точно спелые яблоки. Будто сорвавшись с дерева, они летят под ноги, а он бежит легко и весело, перепрыгивая через них.

Километров десять позади, но он все еще свеж и усталости не видно. Капельки пота холодят лоб и шею. Он в порядке. Уж на этот раз он кое-кого «проверит» на дистанции. Уж на этот раз...

Просто-напросто он раньше психовал.

Прошел курс психотерапии. Профессор сказал: здоров, без изъяна. Профессор! Ученый. Это и есть для него, Кости Слезкина, психотерапия.

Все в порядке. Теперь, когда пойдет двадцать первый километр, он и в голове не станет держать: вот сейчас начнется, сейчас появится, сейчас...

Профессор сказал: здоров...

На этот раз все будет иначе. Он выиграет эти соревнования. Он обойдет всех легко, изящно. И снова станет перспективным, и снова — чудом природы.

Сейчас он не перспективный. На него махнули рукой. Для всех Костя Слезкин — вундеркинд, который вырос и стал посредственностью. И поэтому его можно было подставить под удар. Ах, тактики, ах, стратеги! Надули! Составили ему график бега. А потом выяснилось: подставили под удар. Чтобы он, Костя Слезкин, на своем горбу втащил в рай Кипарисова.

И ведь втащил, втащил ведь!

Ах, тактики!..



Или они думали, что Костя Слезкин для этого каждодневно изнурительно тренировался — все по два часа, он — четыре, пять, шесть? И — режим. Нет, режим не то слово. Самоистязание. Сам себя на дыбу вздернул. Чуть свет на ногах: зарядка, бег. После работы — бег, бег, бег. Засмеркалось — спать. Крепко, вмертвую, без сновидений. У всех праздники, вечера, свадьбы, дни рождения. У Слезкина — ничего. Спать. Чтoб не тратить силы ни на что — марафон, сорок два километра... Форма, черт ее задерж!

Сначала держал себя в узде, потом и вовсе перестал чего-либо хотеть. Ел, спал, бегал, работал. Все. Режим. Форма.

А ради чего? Ради того, чтобы тактики, стратеги подставили его под удар, чтобы он, Костя Слезкин, вывел вперед Кипарисова.

Хоть бы заранее сказали, предупредили, уговорили. Какое там!

И только потом, когда Костя припер их к стене, сказали: «Товарищ должен помогать товарищу ради коллективного интереса». — «Но почему я — Кипарисову, а не наоборот?» — «Ну, знаешь ли...»

«А в каком, простите, смысле?» — «В обыкновенном: все равно ты на двадцать первом километре скисаешь, так хоть помоги товарищу на первых двадцати, напугай соперников темпом, сбей их с толку, отбрось их. Напугал, сбил, отбросил. Молодец, герой и все такое. Главное — результат. Финиш. А на финише первыми были мы. Наши. Ясень!»

«Плывать я хотел на ваш Ясень!»

«Ах, Слезкин, Слезкин, возьми себя в руки, старик».

Но когда он бежит по лесу, все забывается, он на седьмом небе, он наливается уверенностью, он почти счастлив.

Он бежит, наматывает километры. Притормаживая, спускается в лошину — раз!.. — как по ксилофону, шумно проскакивает бревенчатый раздрызганный мостик через желтую, с илистым берегом речушку, поднимается в гору, головой вперед ныряет в чашу, пробегает полянку, охваченную хороводом березок, и снова выходит на тропинку — обычный маршрут.

Бежит.

— Алло!

Костя хватается за тонкий ствол рябины и, крутнувшись, останавливается.

— Алло!

В стороне от тропинки, на пеньке, широко расставив ноги, сидит мужчина. Грубоватое, дочерна загорелое лицо аскета с прямым тонким жестким ртом. Великий стайер, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и Олимпийских игр. Иван Пожилков.

Все еще держась за ствол рябины, Костя сказал:

— Здравствуйте, вы меня?

— Как дела?

— Хорошо.

— Поди-ка.

Подошел. Разговорились.

— И давно ты бегаешь марафон?

— Всю жизнь.

— А по-серьезному?

— Два года.

— Молод для длинных дистанций.

— Да, но я надеюсь на свою силу, я знаю, я марафонец, и не хочу терять время на другое.

— Знаешь, знаешь, — проговорил Пожилков, — откуда?

— Знаю.

— А все-таки?

— Знаю.

— Ну, а все-таки, черт возьми?

— Знаю.

Он и верно стал бегать с самого детства. И все на дальность. И никто в школе не мог с ним сравниться в выносливости, даже старшеклассники. В чем, в чем, а в беге на дальность — тут он был всегда на высоте, всегда первый. И он уверовал в себя, в свою спортивную звезду. И когда умерла мать и он остался один, переехал из Раменского в Ясень, к тетке, псдрос, тут-то его и заметили. Не могли не заметить. В Ясене каждый третий легкоатлет или лыжник. Это полувекковая традиция. Маленький Ясень, сползающий с холма домиками, садами, оседающий у самой воды канала краснокирпичными корпусами, казармами, как их называли встарь, краснокирпичными постройками ткацкой фабрики и белостенной хлебопекарней, дал легкой атлетике шестерых мастеров и двух заслуженных мастеров спорта, из которых великий стайер Иван Пожилков — самая большая гордость, герой, своего рода фетиш.

Великий стайер жил в Москве, в Ясене бывал редко и заходил к своим сверстникам, с которыми начинал жизнь, посе-

щел соревнования на правах почетного гостя. Молодые, в сущности, знали его лишь в лицо да по легендам, а он молодых из Ясеня и вовсе не знал — не до них. Но они бредили его славой и его подвигами на дистанции, подражали ему во всем. И даже характерными пожилковскими фразами, как-то: «Возьми себя в руки, старик!» — бросались все, к месту и не к месту.

Но Косте был безразличек Пожилков. У него был один фетиш — марафон.

Своими марафонцами издавна был знаменит Ясень. Поэтому Костю Слезкина заметили.

Однажды, когда первенство страны проводилось в Ясене, Костя Слезкин под смех и улюлюканье зрителей увязался за стартующими марафонцами и не отставал от них километров пятнадцать.

Вот тогда на него и обратили внимание. Заметили.

Те самые стратеги и тактики, которые теперь его не замечают.

Они-то не знают, чего ему стоит добежать до финиша, не сдаваться. И они его, не задумываясь, подставили под удар.

Ах, тактики!

Но теперь Костя сам по себе. Приват-марафонец. И тренируется в одиночку и график бега сам себе составит. Обойдется он без помощников. Как-нибудь. Сам.

Помолчав, Пожилков сказал:

— Ты действительно силен, парень, — он снизу вверх окинул Костину фигуру, охваченную солнцем, точно огненной лентой. — Ты как борец-полутяжеловес. Но кажется, и резв тоже. — И усмехнулся одними губами так, что Костя и не понял: всерьез он это или подтрунивает?

Костя насторожился и все-таки решил спросить: откуда, мол, Пожилков знает, какой он, Костя Слезкин, есть на самом деле? Но тот небрежно бросил:

— Видел тебя на последних соревнованиях — здорово бежал, ей-богу!

— Ах, вот оно что...

— А что?

— А ничего: просто меня подставили под удар тактики и стратеги. Не заметили?

— Бедняжка борец-полутяжеловес, — сказал Пожилков.

— Я вед. с вами серьезно. Мне ведь...

— И я, — перебил Пожилков, — никогда в жизни не был так серьезен, — сказал Пожилков. — Так что возьми себя в руки, старик.

— Значит, мне показалось, — сказал Костя.

— Показалось.

Они замолчали. Молчание становилось неловким.

— Вы что-то говорили, что... — начал было Костя.

— Я говорил, — сказал Пожилков, — что здорово ты бежал.

— А-а, — Костя поднял с земли ветку и переломил ее пополам. — Зато потом скис.

— Это ничего. Это со временем пройдет. Это бывает даже у борцов-полутяжеловесов.

Костя быстро глянул на Пожилкова, но на лице великого

стайера — неподвижном, точно слепок, — ничего нельзя было прочесть.

— Что «это»? — спросил Костя.

— Не дури мне голову, — сказал Пожилков. — Дури кому другому, только не мне. Вот что. Довольно. Я тебе сейчас скажу, почему ты проиграл свои последние соревнования, парень (я ведь ехал с кинооператорами телевидения на их машине и все видел), я скажу, почему ты всегда скисаешь на полпути к финишу, скажу, хочешь?

— Нет.

— У тебя, борец-полутяжеловес, слабые мышцы брюшного пресса. Потому и корчит тебя на дистанции. Не выдерживают расстояния мускулишки живота. Потому и жжет. Вот тут, во...

Костя машинально посмотрел на свой живот.

— Да.

Так вот откуда эта боль — точно раскаленную болванку сунули внутрь него, и тогда Костя бежит с закрытыми глазами, чтобы не видеть стволы деревьев, телеграфные столбы. Он закрывает глаза, потому что его так и тянет к стволам, столбам — уцепиться, обнять, повиснуть, сползти на землю, свернуться калачиком, замереть...

— Я был у врача. Желудочника. Профессора. Все в порядке, без изъяна, сказал.

— Возможно, ну и что? Откуда ему знать?

— Да, конечно.

Потом Костя спросил:

— Значит, вы не верите, что на тех соревнованиях меня подставили под удар?

— Верю, верю, — поморщился Пожилков, — ну, а если б не подставили?

— Да, — сказал Костя. — Все равно.

Он поймал себя на том, что держится за живот.

— Что же мне делать, — спросил, — посоветуйте.

— Взять себя в руки, старик. — Пожилков встал со своего пенька. — А пока ты будешь это делать, я поразмыслию. Раз, два, три, четыре, пять.

— Ну, вот что, — сказал он потом, — если хочешь, будем тренироваться вместе.

— С вами?!

— Хочешь?

— Еще бы! Только...

— Только?

— Только ведь я набегаю каждый день двадцать пять — тридцать километров...

— И мне за тобой не угнаться?

— Да нет, почему же...

— Значит, все-таки угнаться? Ладно, помалкивай.

Пожилков отошел в сторону и оттуда, не оборачиваясь, спросил:

— Что, приятель, уже говорят, будто я стар, будто я становлюсь историей спорта? Ну?

И Костя не мог соврать.

— Да, — сказал он, — поговаривают. Но я в это не верю, и, когда говорил про километры, не это имел в виду, я ведь марафонец, вы — стайер.

— Не верь, — сказал Пожилков, — я еще хорош.

Но он уже не был хорош. Во всяком случае, так хорош, как прежде.

...С самого начала со старта Пожилкова подзажали, но уже на втором круге создалась классическая для него ситуация: четверо впереди, он пятый, а сзади, в нескольких метрах, хвост из тех, кто ни на что не претендует. И все пошло, как всегда, никто иной, именно он, Пожилков, стал дирижером бега. Хотя со стороны, может, и незаметно, но он заранее знал, чувствовал. — интуиция, выработанная гигантским опытом, — когда кто-либо из той, лидирующей, четверки только еще задумывал бросок, чтобы оторваться, Пожилков своим поведением на дистанции заставлял бороться с лидером другого, бросая его из-за спины в бой, чтобы противники измотали друг друга, а когда среди этих двух определялся лидер, Пожилков вовремя, в самый нужный момент, начинал сам штурмовать, тянул за собой остальных, а потом уходил в тень, подставляя других под удар, сбивал их с графика, но сам строго придерживался своего плана бега.

И все шло хорошо. Как раньше. Только еще острее, жестче.

Первым сник Макогоненко. Но в это время рванулся вперед Кибальник, отбросив Пожилкова в хвост пятерки. Но Пожилков снова пошел вперед мощным удлиненным шагом. Занял второе, потом третье место — отсюда виднее, как с дирижерского пюльта. А дальше отодвигаться уже было нельзя — шестой круг.

Потом начался цирк.

Они вошли в поворот, когда по стадиону разнеслось:

— Лорд, Лорд, Лорд!

Лидирующая группа бежит в том же порядке — плотно друг за дружкой. Но вот та, что сзади, основная, из тех, кто ни на что не претендует, теперь разорвалась пополам. И вдруг из задней группы крепкий, на коротких мощных волосатых ногах Лордкипанадзе делает рывок, обходит одного, второго...

Он на полпути к лидерам. Он бежит как-то нелепо, точно за трамваем, разбрасывая руки, но быстро и очень решительно.

— Лорд, Лорд, Лорд!.. — кричат ему.

«Ах ты, Лорд, Лорд, чем ты будешь бежать дальше?» — думает Пожилков.

— Лорд, Лорд, Лорд! — кричат студенты, потому что Лорд кипанидзе — из «Буревестника» и, наверное, тоже студент.

Ему до лидеров двадцать, пятнадцать, десять, восемь, шесть метров...

— Лорд!.. Ай да Лорд!..

...метр.

Перевозников — лидер лидеров — оборачивается и внезапно делает отворот, пропускает на первое место у бровки Пожилкова. Струсил. Решил спрятаться за широкую спину великого стайера. Пусть, мол, он, Пожилков, решает, как быть с этим шустрым Лордом.

Пожилков не возражает.

Лордкипанидзе между тем поравнялся с Перевозниковым. Отброшен Воронин. На очереди Кибальник...

А Пожилков словно и не замечает этого — спокоен, хотя Лордкипанидзе рядом.

Но когда шустрый Лорд пытается вырваться вперед, занять место у бровки, Пожилков не пускает, и они бегут, бегут плечом к плечу. Бегут, бегут.

И вдруг рывок. Его делает Пожилков, а за ним остальные. Это неотразимо — момент выбран точно, как раз тогда, когда бедному Лорду нечем ответить.

И Лорд, бедный Лорд, катится назад. Будь здоров, Лорд!

Бой. Теперь Перевозников и Кибальник выходят вперед, но через шестьдесят метров Пожилков подступает к ним. Нажим — назад летит один, а вслед за ним второй. А Пожилков все прибавляет и прибавляет скорость.

Они входят в вираж, и тут сдает Кибальник. Он так резко сбавляет скорость, что Перевозников натывается на него.

Пожилков уходит вперед. Разрыв увеличивается.

Перевозников, оправившись, бросается в бой, таща, как на длинной «сцепке», Кибальника, который бежит из последних сил. Их отделяет от лидера метров восемь, не больше.

Темп невероятно велик. Они входят в последний круг.

Приближается развязка. Еще один бросок на последней прямой, и бой выигран.

И тут атакует Перевозников. Пожилков отвечает атакой. Но слабой. Расстояние между ними быстро сокращается.

Последняя прямая. Сейчас все решат спринтерская скорость, запас выносливости, который к финишу у Пожилкова всегда чуть-чуть был больше, чем у других.

Кибальник не выдерживает и, качаясь, как пьяный, сходит с дорожки, садится на траву футбольного поля, раскачивается, будто молится.

А Перевозников снова штурмует, подбирается к Пожилкову.

До финиша чегуха, метров тридцать. Стадион на ногах.

Пожилков первый.

Еще первый.

И вдруг он падает. На живот. Переворачивается на спину и снова на живот. Пытается встать и падает.

А Перевозников рвет грудью финишную ленту.

Каждый спортсмен проходит через это. У каждого наступает момент, когда не хватает сил для последнего рывка. Сначала это кажется случайностью. Потом понимаешь — это не случайность. Пришел твой черед, а смириться нет мочи. И перед каждым соревнованием никак не заснуть, все думаешь, думаешь. И выходишь на старт усталый, а иногда бывает так страшно начать бег, что ноги отказываются служить. И когда проигрываешь бой, снова по ночам думаешь, думаешь, думаешь. О том, что самое лучшее в жизни осталось позади — борьба, победы, слава. Позади. И это необратимо.

А утром снова в это не веришь. Не веришь, что твой главный бой позади, а не впереди. И если не хватает сил для последнего броска, думаешь, что есть опыт, гигантский опыт, которому нельзя кануть в вечность. Он еще скажет свое слово — опыт.

*Он еще хорош. У него опыт, и он умеет так хитрить, как никто.
Через месяц — первенство Москвы. Там он докажет — себе
и всем...*

Впервые за много лет он приехал в Ясенё, чтобы тренироваться и думать.

С того дня и до конца сбора они тренировались вместе. Поначалу заслуженный мастер спорта пропускал Костю вперед, и тот задавал темп. Набегали они в эти дни обычную Костину норму — по 15, 20, 30 километров с постоянной скоростью.

Но постепенно, так, чтобы Костя не почувствовал резкой перемены, Пожилков стал менять структуру тренировок. Теперь они пробегали в быстром темпе отрезки в 3—4 километра и переходили на медленный бег, расслабляясь. Потом спортивный шаг и снова бег в быстром темпе.

Костя знал: такая структура тренировки не для марафонца, но возражать не стал. Великому стайеру виднее. Да и как мог звать Костя, к чему клонит великий стайер?

Уже перед отъездом со сборов Пожилков сказал Косте:

— Я хочу, чтобы ты выступил со мной на стайерской дистанции — пять тысяч метров. Вне зачета, конечно.

Они мылись в это время в душевой.

— Я хочу, — продолжал Пожилков, — чтобы ты выступил, а там будет видно, слышишь, парень?

Костя вышел из своей кабины.

— Ах, вот оно что! Вместе с вами.

Пожилков стоял к нему спиной, намыливая голову, стриженую «канадкой». Костя смотрел на его жилистую спину и наливался злостью.

Он спросил:

— Зачем я должен это сделать, а?

— Возьми себя в руки, старик, — сказал Пожилков равнодушно, — умоляю.

— Зачем я должен это сделать?

Пожилков на ощупь положил мыло на полку и полез под душ.

— Кому это надо? — повторил Костя.

Пожилков вышел из кабины, вытирая ладонью лицо.

— У человека, — сказал он, — который не умеет себя держать в руках, нет будущего.

— Плевать!

— Возьми себя в руки.

— Если вы еще раз это скажете...

— Фу, — сказал Пожилков. — Я хочу, чтобы ты со мной бежал эту дистанцию. Каприз. Имею я на него право?

— Ну как же, — выдохнул Костя, — вам все позволительно. Но со мной это не пройдет, так и знайте.

— Буду иметь в виду. Сутки тебе на размышление. Думаю, хватит.

2

Поле, трибуны и все вокруг точно вымазано солнцем.
Солнце... Оно бьет в лицо, потом палит в висок, потом в затылок; когда пройден первый круг, снова бьет в лицо, и ка-

жется, еще секунда, и кожа на лбу, щеках сморщится, запузырится, словно яичница на сковородке. Плюс тридцать восемь — небывалая жара.

А Костя не переносит жару. Это его недостаток.

Но пока он бежит хорошо, здорово. Ему даже весело. Они с Пожилковым всех надули. Провели. Ошарашили. Прямо со старта ринулись вперед, точно на стометровку, и сразу оторвались от основной группы метров на полтораэта.

На это Пожилков и делал ставку: ошарашить противника, спутать карты. Никто не ожидал от него такого начала. Никому и в голову не могло прийти, что Пожилков откажется от выжидательной тактики, которая верой и правдой служила ему столько лет и в которой нет ему равных в мире. Никто не ждал, что он возьмет на себя лидерство, да еще таким образом.

Но он взял.

Костя идет за ним, как на привязи.

Перед самым стартом Пожилков все твердил ему: «Ты должен бежать за мной, как на привязи». — «Ладно». — «Ты слышишь, как на привязи!» — «Ладно». — «И сильнее работай руками». — «Да ладно!» — «И ни в коем случае не отставай от меня, ты слышишь, ты понял?»

Он старается. Выше бедро, сильнее руками... Он делает, что велено, как договорились.

Ну и темп!

Они вошли в третий круг. Пожилков — в полутора метрах впереди. Они бегут в ногу. Костя чувствует, как отяжелели его ступни и земля будто затвердела, словно под ним асфальт. Но он старается...

Жара!..

Еще круг. Жарко! Вот так жара, будь она трижды проклята!

Костя бежит, как на привязи. Бронзовые, мокрые от пота плечи великого стайера поблескивают на солнце, точно вспышки фотоламп.

Они бегут в ровном темпе и, судя по тому, что с первого ряда трибун им машут белым платком, укладываются в свой график. А в нем учтено все, в том числе физические и скоростные возможности основных соперников, которые, само собой, попытаются сначала сократить разрыв, достать, а затем обойти лидеров. Но когда они достанут, великий стайер будет на финише.

Только Костя Слезкин не думает о соперниках. Они — не его забота. Его забота — бежать за великим стайером, выше бедро, сильнее работать руками.

Они входят в поворот, и Костя краем глаза видит основную группу, которую возглавили Перевозников и Кибальник. Прикинул расстояние, и ему показалось, что разрыв сокращается слишком быстро. Так не предусмотрено. Но, может, ему только кажется.

Нет, не кажется. Загудел стадион. «Ясень, Ясень!» — это возгласы для них с Пожилковым. Костя тут ни при чем, он пешка в ферзевой атаке.

...Великий стайер загребает воздух растопыренной пятерней. Это знак: внимание, будет спурт.

Ни к чему бы это Косте Слезкину, тяжеловато, но он пострадается.

Пожилков мощно набирает, набирает, набирает скорость. Костя не отстаёт.

— Ясень, Ясень, Ясень! — орут им с трибун. Здесь, ей-богу, пол-Ясеня!

Противники приняли вызов и прибавили темп. Перевозников и Кибальник оторвались от основной группы, и теперь между ними и лидерами метров пятьдесят.

Пожилков снова загребаёт воздух растопыренной пятерней — спурт!

— Спурт!

У Кости аж в глазах зарябило.

Но их достают.

Спурт!

Положение стабилизируется. С первого ряда трибун машут белым платком. Все в порядке.

Но Костя чувствует, как свинцом наливаются его ноги.

...Шестой круг. Долго, бесконечно долго тянется этот шестой. Костя Слезкин уже не знает, как идут их дела: хорошо, плохо? Его легкие готовы разорваться от недостатка кислорода. Перед глазами плывут фиолетовые круги. Веки отяжелели. Лицо заливает потом. Небо, земля, трибуны — все валится в кучу.

А солнце палит, как сумасшедшее.

Косте становится все на свете безразлично, и он бежит по инерции.

Почти в каждом трудном соревновании наступает момент, когда бежать нет больше мочи, и тогда усилием воли человек заставляет служить усталое тело, возможности которого далеко не исчерпаны.

Но для этого нужно выйти на старт с лютой решимостью победить и с верой в самого себя.

А Костя Слезкин? Он обещал выступить и выступил. Он обещал постараться и постарался. Прийти первым, вторым, третьим — этого он не обещал. Он марафонец, но у него слабые мышцы живота. Он займётся тяжелой атлетикой, есть десятки упражнений для брюшного пресса... Пятикилометровая дистанция не для него.

Пожилков? Он, по всему видно, в порядке. Надо думать... Костя Слезкин не понадобится великому стайеру. Он и так победит. Это он с перепугу взял в забег Костю, на всякий случай, чтобы подкинуть на «зубок» другим, а пока они будут грызть, самому отбросить всех.

Расчет его точен. Он и без Кости обойдется. А не обойдется, так это его забота. Кто он Косте Слезкину? Никто. У Кости своя забота. Он марафонец.

И Костя перестает стараться. Сквозь фиолетовые круги он видит спину великого стайера: она медленно уходит вперед.

Зрители на трибунах надрываются. Ясенцы кричат: «Костя, Костя, Костя!» И Костя Слезкин понимает почему: его наступают те, задние, Перевозников и Кибальник.

Косте безразлично. Каждый шаг по твердой, как асфальт, дорожке отдается в теле.

Но он, конечно, добежит до финиша, он всегда добегает.

— У-э-э-э!.. — ревет стадион.

— Костя, Костя, Костя!

А потом:

— Ясень, Ясень, Ясень!

Костя поднимает от земли глаза. И вдруг фиолетовые круги исчезают.

— Ясень, Ясень!..

— Пе-ре-воз-ни-ков!..

Костя оторопело смотрит вперед.

Спина великого стайера больше не удаляется,

не уходит вперед,

не уходит,

приближается...

И не потому, что Костя Слезкин побежал быстрее, нет.

Великий стайер явно замедлил бег.

«Сдал!»

«Неужели?»

«Ну, темп же!»

— Пе-ре-воз-ни-ков!..

— Ясень, Ясень, Ясень!

Костя быстро оглянулся и увидел невдалеке открытый рот и напряженно выпученные глаза Перевозникова. Он и Пожилков — они как бы с двух сторон подступают к Косте Слезкину, Кибальник отстал.

До финиша полкруга.

Пожилков снова в полутора метрах впереди Кости Слезкина. Как раньше. Но вдруг он отворачивает от бровки. Он бежит рядом. Плечом к плечу. Костя видит его профиль, бесстрашный, как профиль слепка.

И тут Костя услышал его хриплое, прерывистое:

— Возьми себя в руки, старик! Трус, дерьмо, марш!

И рванулся грудью вперед, наискосок к бровке.

И тогда Костя Слезкин вырвался вслед за ним.

Но было уже поздно.

Они опоздали совсем не намного, может, на какую-то долю секунды — Перевозников и Кибальник, который за это время подтянулся, уже обходили их с большой скоростью.

У самого финиша завязалась отчаянная борьба. Но было поздно. Великому стайеру едва удалось обойти Кибальника и финишировать вторым.

Костя Слезкин пришел четвертым.

Он бросился было к Пожилкову, еще не зная, что скажет, но тот отвернулся от него и, покачиваясь, пошел в другую сторону.

Потом объявили результаты, и первым к Косте Слезкину подлетел Перевозников.

— Ты кто, откуда взялся?

— Да поди ты! — в отчаянии огрызнулся Костя.

— Брось, ты же чудо!

— Что?

И только тут до Кости дошло: это невероятно, но он, Костя Слезкин, марафонец, уложился в норматив мастера спорта СССР! В беге на пять тысяч метров.

Поздно вечером он, наконец, решился позвонить великому стайеру домой.

— Тебе чего? — буркнул тот.

— Я хотел сказать спасибо.

— Ладно, гуляй.

Но трубку не повесил.

Кто-то остановился за дверью телефонной будки в ожидании, и Костя полуобернулся.

— Хочешь что-нибудь спросить? — сказал Пожилков.

— Да, — Костя потрогал цепь, которой была прикована трубка к аппарату. — Я хотел спросить: почему вы тогда поехали за мной на машине с киноаппаратом, почему именно за мной?

— Ищешь чью-то личную заинтересованность?

— Нет.

— Тактики, стратеги попросили. Они никак не могли понять, что с тобой происходит. Ясно?

— Ясно.

— Что еще?

— Все.

И снова не повесил трубку.

— А что же мне дальше? — спросил Костя, помолчав.

— Гулять.

— Ну, я пошел, — сказал Костя, — еще раз спасибо.

— Пока не за что. Пока что бегать ты не умеешь. Пока ты еще пустое место на дорожке. Ты еще физкультурник, черт тебя подери, а не спортсмен.

— Может быть, — сказал Костя.

— Опять лезешь в бутылку?!

— Да.

— Но все равно мне от тебя теперь некуда деться. Надо хоть как-нибудь компенсировать ущерб. Говорят, каждому надлежит кого-то выучить. Будешь моим учеником. Первым.

— Буду. Когда?

— Вчера.

Костя тихонько повесил трубку на рычаг и вышел из парной кабины телефона-автомата. «Уф!»

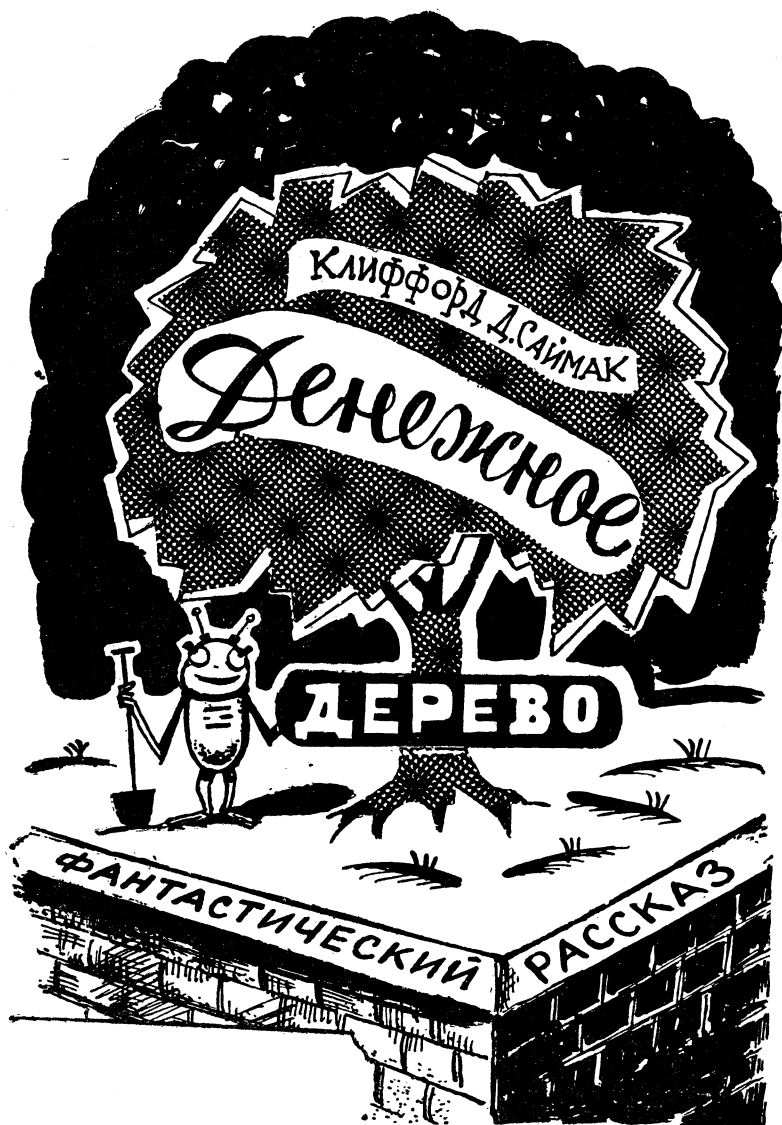
Теперь можно было радоваться.

— Ну и человек, — сказал он поджидавшему очередь, — заноза!

Тот пожал плечами.

— Да не о тебе речь, парень, — сказал Костя, — так что возьми себя в руки, старик.





Рисунки Г. КОВАНОВА

У ак Дойл шел вдоль высокой кирпичной стены, отделявшей городской дом Дж. Говарда Меткалфа от вульгарного окружения, когда увидел, как через стену перелетела двадцатидолларовая бумажка.

Учтите, что Дойл не из тех, кто хлопает ушами — он себе клыки обломал в этом грубом мире. И хоть никто не скажет, что Дойл очень вдумчив, дураком его тоже считать не стоит. Поэтому не удивительно, что, увидев деньги посреди улицы, он их очень быстро подбирает.

Он оглянулся, чтобы проверить, не следит ли за ним кто-нибудь. Может, кто решил подшутить таким образом или, что еще хуже, присвоить деньги?

Но вряд ли за ним следили — в этой части города каждый занимался своим делом и принимал все меры к тому, чтобы остальные занимались тем же, что достигалось в большинстве случаев высокими стенами. И улица, на которой Дойл намеревался присвоить банкноту, была, по совести говоря, даже не улицей, а глухим переулком, отделяющим кирпичный забор резиденции Меткалфа от изгороди банкира Дж. С. Грегга. Дойл поставил там свою машину, потому что на бульваре, куда выходили фасады домов, не было стоянки.

Никого не обнаружив, Дойл поставил на землю фотоаппараты и погнался за бумажкой, плывущей над переулком. Он схватил ее с резвостью кошки, ловящей мышь, и вот именно тогда-то он и заметил, что это не какой-нибудь доллар и даже не пятидолларовик, а самые настоящие двадцать долларов. Бумажка похрустывала — она была такой новенькой, что еще блестела, и, держа ее нежно кончиками пальцев, Дойл решил удалиться к Бенни и позволить себе одно или несколько возлияний, для того чтобы отпраздновать колоссальное везение.

Легкий ветерок дул вдоль переулочка, и листва немногих деревьев, что росли в нем, совместно с листвой многочисленных деревьев, что росли за заборами и оградами на подстриженных лужайках, шумела, как приглушенный симфонический оркестр. Ярко светило солнце, и не было никакого намека на дождь, и воздух был чист и свеж, и мир был удивительно хорош. И с каждым моментом становился все лучше.

Потому что через стену Меткалфа вслед за первой бумажкой, весело танцуя по ветру, неслись другие.

Дойл увидел их, и на миг его схватил паралич, глаза несколько вышли из орбит, и кадык подергивался от возбуждения. Но в следующий момент он оказался среди бумажек, хватая их обеими руками, набивая ими карманы, задыхаясь от страха, что какая-нибудь из банкнот может убежать от него. Он был во власти убеждения, что, как только он соберет все деньги, ему надо бежать отсюда со всех ног.

Он знал, что деньги кому-то принадлежат, и он был уверен, что даже на этой улице не найдется человека, настолько презирающего деньги, что он позволит им улететь и не попытается возвратить их.

Так что он собрал деньги и, убедившись, что ни одной бумажки не упустил, бросился к своей машине.

Через несколько кварталов, в более укромном районе, он остановил машину на обочине, опустошил карманы, разглаживая банкноты и складывая их в ровные стопки на сиденье. Их оказалось куда больше, чем он предполагал. Дыхание со свистом вырывалось сквозь зубы.

Он поднял пачку, чтобы посчитать деньги, и заметил, что нечто торчит из нее. Он попытался щелчком выкинуть это нечто, но оно осталось на месте. Казалось, оно приклеилось к одной из банкнот. Он дернул, и банкнота вылезла из пачки.

Это был черешок, такой же, как у яблока или вишни, черешок, крепко и естественно приросший к углу двадцатидолларовой бумажки.

Он бросил пачку на сиденье, поднял банкноту за черешок, и ему стало ясно, что совсем недавно черешок был прикреплен другим концом к ветке.

Дойл тихо присвистнул.

«Денежное дерево», — подумал он.

Но денежных деревьев не бывает. Никогда не было денежных деревьев. И никогда не будет денежных деревьев.

— Мне мерещится чертовщина, — сказал Дойл, — а я уже несколько часов капли в рот не брал.

Ему достаточно было закрыть глаза — и вот оно, могучее дерево с толстым стволом, высокое, прямое, с раскидистыми ветвями, с множеством листьев, и каждый лист — двадцатидолларовая бумажка. Ветер играет листьями и рождает денежную музыку, а человек может лежать в тени этого дерева и ни о чем не заботиться, только подбирать падающие листья и класть их в карманы.

Он потянул за черешок, но тот продолжал держаться за бумажку. Тогда Дойл аккуратно сложил банкноту и положил ее в часовой кармашек брюк. Потом подобрал остальные деньги и, не считая, сунул их в другой карман.

Через двадцать минут он вошел в бар Бенни. Бенни протирает стойку. Единственный одинокий посетитель сидел в дальнем конце бара, посасывая пиво.

— Бутылку и рюмку, — сказал Дойл.

— Покажи наличные, — сказал Бенни.

Дойл дал ему одну из двадцатидолларовых бумажек. Она была такой новенькой, что хрустение ее громом прозвучало в тишине бара. Бенни очень внимательно оглядел ее.

— Кто это их тебе делает? — спросил он.

— Никто, — сказал Дойл, — я их на улице подбираю.

Бенни передал ему бутылку и рюмку.

— Кончил работу? Или только начинаешь?

— Кончил, — сказал Дойл. — Я снимал старика Дж. Говарда Меткалфа. Один журнал с востока заказал его портрет.

— Этого гангстера?

— Он теперь не гангстер. Он уже года четыре-пять как легальный. Он теперь магнат.

— Ты хочешь сказать — богач. Чем он занимается теперь?

— Не знаю. Но чем бы ни занимался, он с этого имеет. У него приличная хижинка на холме. Но сам-то он — глядеть не на что.

— Не понимаю, чего в нем твой журнал нашел?

— Может быть, они хотят напечатать рассказ о том, как выгодно быть честным человеком.

Дойл наполнил рюмку.

— Мне-то что, — сказал он философски. — Если мне заплатят, я и червяка сфотографирую.

— Кому нужен портрет червяка?

— Мало ли психов на свете! — сказал Дойл. — Может, кому-нибудь понадобится. Я вопросов не задаю. Людям нужны снимки, и я их делаю. И пока мне за них платят, все в порядке.

Дойл с удовольствием допил и налил снова.

— Бенни, — спросил он, — ты когда-нибудь слышал, чтобы деньги росли на дереве?

— Ты ошибся, — сказал Бенни, — деньги растут на кустах.

— Если на кустах, то и на деревьях могут. Ведь что такое куст? Маленькое дерево.

— Ну, уж нет, — возразил Бенни, малость смешавшись. — В самом деле деньги и на кустах не растут. Просто поговорка такая.

Зазвонил телефон, и Бенни подошел к нему.

— Это тебя, — сказал он.

— Кто бы мог догадаться, что я здесь? — удивился

Дойл.

Он взял бутылку и перебрался вдоль стойки к телефону.

— Ну, — сказал он в трубку, — вы меня звали, говорите.

— Это Джейк.

— Сейчас ты скажешь, что у тебя для меня работа. И что ты мне дня через два заплатишь. Сколько, ты думаешь, я буду на тебя работать бесплатно?

— Если ты это для меня сделаешь, Чак, я тебе все заплачу. И не только за это, но и за все, что ты делал раньше. Мне нужна твоя помощь сейчас. Понимаешь, машина слетела с дороги и попала прямо в озеро, и страховая компания уверяет...

— Где теперь машина?

— Все еще в озере. Они ее вытащат не сегодня-завтра, а мне нужны снимки...

— Может, ты хочешь, чтобы я забрался в озеро и снимал под водой?

— Именно так. Я понимаю, что это нелегко. Но я до стану водолазный костюм и все устрою. Я бы тебя не просил, но ты единственный человек...

— Не буду я этого делать, — уверенно сказал Дойл, —

у меня слишком хрупкое здоровье. Если я промокну, то схвачу воспаление легких и у меня разболются зубы, а кроме того, у меня аллергия к водорослям, а озеро почти наверняка полно кувшинками и всякой травой.

— Я тебе заплачу вдвойне! — в отчаянии вопил Джейк. — Я тебе даже втройне заплачу!

— Знаю, — сказал Дойл, — ты мне ничего не заплатишь.

Он повесил трубку и вернулся на старое место, таща собой бутылку.

— Тоже мне, — сказал он, выпив две рюмки подряд, — чертов способ так зарабатывать себе на жизнь.

— Все способы чертовы, — сказал Бенни философски.

— Послушай, Бенни, та бумажка, которую я тебе дал, она в порядке?

— А что?

— Да нет, ты так похрустел ею.

— Я всегда ими хрущу. Клиенты это любят.

И он машинально протер стойку снова, хотя та была чиста и суха.

— Я в них разбираюсь не хуже банкира, — сказал он. — Я фальшивку за пятьдесят шагов учую. Некоторые умники приходят сбыть свой товар в бар, думают, что это самое подходящее место. Надо быть начеку.

— Ловишь их?

— Иногда. Не часто. Вчера здесь один рассказывал, что теперь до черта фальшивых денег, которые даже эксперт не отличит. Рассказывал, что правительство с ума сходит — появляются деньги с одинаковыми номерами. Ведь на каждой бумажке свой номер. А когда на двух одинаковый, значит, одна из бумажек фальшивая. Тот парень говорил, что они думают — это работа русских.

Дойл еще выпил и вернул бутылку.

— Мне пора, — объявил он. — Я сказал Мейбл, что загляну. Она у меня не любит, когда я накачиваюсь.

— Не понимаю, чего Мейбл с тобой возится, — сказал Бенни. — Работа у нее в ресторане хорошая, столько ребят вокруг. Некоторые из них и не пьют и работают всюю...

— Ни у кого из них нет такой души, как у меня, — сказал Дойл. — Ни один из этих механиков и шоферов не отличит закат от яичницы.

Бенни дал ему сдачу с двадцати долларов.

— Как я вижу, — сказал он, — ты со своей души имеешь.

— А почему бы и нет! — ответил Дойл. — Это само собой разумеется.

Он собрал сдачу и вышел на улицу.

Мейбл ждала его, и в этом не было ничего удивительного. Всегда с ним что-нибудь случалось, и он всегда опаздывал, и она уж привыкла ждать.

Она сидела за столиком. Дойл поцеловал ее и сел напротив. В ресторане было пусто, если не считать новой

официантки, которая убирала со стола в другом конце зала.

— Со мной сегодня удивительная штука приключилась, — сказал Доил.

— Надеюсь, приятная? — сказала Мейбл.

— Не знаю еще, — ответил Доил. — Может быть, и приятная. С другой стороны, я, может, попаду в неприятности.

Он залез в часовой кармашек, достал банкноту, расправил ее, разгладил и положил на стол.

— Что это такое? — спросил он.

— Зачем спрашивать, Чак? Это двадцать долларов.

— А теперь посмотри внимательно на уголок.

Она посмотрела и несколько удивилась.

— Смотри-ка, черешок! — воскликнула она. — Совсем как у яблока. И приклеен к бумаге.

— Эти деньги с денежного дерева, — сказал Доил.

— Таких не бывает, — сказала Мейбл.

— Бывает, — сказал Доил, сам все более убеждаясь в этом. — Одно из них растет в саду Дж. Говарда Меткалфа. Отсюда у него и деньги. Я раньше никак не мог понять, как эти боссы умудряются жить в больших домах, ездить на автомобилях длиной в квартал и так далее. Ведь чтобы заработать на это, им пришлось бы всю жизнь вкалывать. Могу поспорить, что у каждого из них на дворе растет денежное дерево. И они держат это в секрете. Только вот сегодня Меткалф забыл с утра собрать спелые деньги и их сдуло с дерева через забор.

— Но даже если бы денежное дерево существовало, — не сдавалась Мейбл, — они не смогли бы сохранить секрет. Кто-нибудь да дознался бы. У них же есть слуги. а слуги...

— Я догадался, — перебил ее Доил. — Я об этом думал и знаю, как это делается. В этих домах не простые слуги. Каждый из них служит семье много лет, и они очень преданные. И знаешь, почему они преданные? Потому, что им тоже достается кое-что с этих денежных деревьев. Могу поклясться, что они держат язык за зубами, а когда уходят в отставку, сами живут, как богачи. Им невыгодно болтать. И кстати, если бы всем этим миллионерам нечего было скрывать, к чему бы им окружать свои дома такими высокими заборами?

— Ну, они ведь устраивают в садах приемы, — протестовала Мейбл. — Я всегда об этом читаю в светской хронике.

— А ты когда-нибудь была на таком приеме?

— Нет, конечно.

— То-то что не была. У тебя нет своего денежного дерева. И они приглашают только своих, только тех, у кого тоже есть денежные деревья. Почему, ты думаешь, богачи задирают нос и не хотят иметь дела с простыми смертными?

— Ну ладно, нам-то что до этого?

— Мейбл, смогла бы ты мне найти мешок из-под сахара или что-нибудь вроде этого?

— У нас их в кладовке сколько угодно. Могу принести.

— И пожалуйста, вшей в него резинку, так чтобы я мог потянуть за нее, и мешок бы закрылся. А то, если придется бежать, деньги могут...

— Чак, ты не посмеешь...

— Как раз перед стеной стоит дерево. И один сук навис над ней. Так что я могу привязать веревку...

— И не думай. Они тебя поймают.

— Ну, это мы посмотрим после того, как ты достанешь мешок. А я пока пойду поищу веревку.

— Но все магазины уже закрыты. Где ты достанешь веревку?

— Это уж мое дело, — сказал Дойл.

— Тебе придется отвезти меня домой. Здесь я не смогу перешить мешок.

— Как только вернусь с веревкой.

— Чак!

— А?

— А это не воровство? С денежным деревом?

— Нет. Если даже у Меткалфа и есть денежное дерево, он не имеет никаких прав держать его в саду. Дерево общее. Больше чем общее. Какое у него право собирать все деньги с дерева и ни с кем не делиться?

— А тебя не поймают за то, что ты делаешь фальшивые деньги?

— Какие же это фальшивки? — возмутился Дойл. — Никто их не делает. Там же нет ни прессы, ни печатной машины. Деньги сами по себе растут на дереве.

Она перегнулась через стол и прошептала:

— Чак, это так невероятно! Разве могут деньги расти на дереве?

— А я и не знаю и знать не хочу, — ответил Дойл. — Я не ученый, но скажу тебе, что эти ботаники научились делать удивительные вещи. Вот был такой Бербанк. Он выращивал такие растения, что на них росло все, чего ему хотелось. Они умеют выращивать совсем новые плоды и менять их размер и вкус и так далее. Так что если кому-нибудь из них пришло бы в голову вывести денежное дерево, для него это пара пустяков.

Мейбл поднялась из-за стола.

— Я пойду за мешком, — сказала она.

2

Дойл забрался на дерево, которое росло в переулке у самой стены.

Он поднял голову и посмотрел на светлые, освещенные лунной облака. Через минуту или две облако побольше закроет луну, и тогда надо будет спрыгнуть в сад.

Дойл посмотрел туда. В саду росло несколько деревьев,

но отсюда нельзя было разобрать, какое из них было денежным. Правда, Дойлу показалось, что одно из них похрустывает листьями.

Он проверил веревку, которую держал в руке, мешок, заткнутый за пояс, и подождал, пока облако закрыло луну.

Дом был темен и тих, и только в комнатах верхнего этажа поблескивал свет. Ночь, если не считать шороха листьев, тоже была тихой.

Край облака начал вгрызаться в луну, и Дойл пополз на четвереньках по толстому суку. Потом привязал веревку и опустил ее конец.

Проделав все это, он замер на секунду, прислушиваясь и приглядываясь к тишине сада.

Никого не было.

Он соскользнул вниз по веревке и побежал к дереву, листья которого, как ему казалось, похрустывали.

Осторожно поднял руку.

Листья были размером и формой точно как деньги. Он сорвал с пояса мешок и сунул в него пригоршню листьев. И еще, и еще...

«Как просто! — сказал он себе. — Как сливы. Как будто я собираю сливы. Так же просто, как собирать...»

«Мне нужно всего пять минут, — говорил он себе. — И все. Пять минут, если никто мне не помешает».

Но пяти минут он не получил. У него не было и минуты.

Яростный смерч налетел на него из темноты. Он ударил его по ноге, впился в ребра и разорвал рубашку. Смерч был яростен, но беззвучен, и в первые секунды Дойлу показалось, что он не имеет формы.

Дойл сбросил с себя оцепенение внезапности и страха и начал сопротивляться так же беззвучно, как и нападающая сторона. Дважды ему удавалось ухватиться за сторожа, и дважды тот ускользал, чтобы вновь наброситься на Дойла.

Наконец ему удалось схватить сторожа так, что тот не мог пошевелиться, и он поднял его над головой, чтобы разозжить о землю. Но в тот момент, когда он поднял руки, облако ушло с луны и в саду стало светло.

И он увидел, что он держит, и с трудом подавил возглас изумления.

Он ожидал увидеть собаку. Но это была не собака. Это было не похоже ни на что, виденное им до сих пор. Он даже не слышал о таком.

Один конец этого представлял собой рот, другой был плоским и квадратным. Эта штука была размером с терьера, но не была терьером. У нее были короткие, но сильные ноги, а руки были длинные, тонкие, заканчивающиеся крепкими когтями, и он подумал, как хорошо, что он схватил его так, что руки были прижаты к телу. Существо было белого цвета, безволосым и голым, как ощипанная курица. Что-то похожее на ранец было прикреплено у него за спиной. Но это еще было не самое худшее.

Грудь существа была большой, блестящей и твердой,

как панцирь кузнечика, а на ней вспыхивали светящиеся буквы и знаки.

Сквозь ужас, охвативший Дойла, пробивались быстрые мысли, и он пытался удержать их. Но мысли крутились где-то неподалеку, и он никак не мог привести их в порядок.

Наконец непонятные знаки исчезли с груди существа, и на ней появились светящиеся слова, написанные печатными буквами:

ОТПУСТИ
МЕНЯ!

Даже с восклицательным знаком на конце.

— Дружище, — сказал Дойл, основательно потрясенный, но тем не менее уже пришедший в себя. — Я тебя не отпускаю. У меня есть кое-какие планы.

Он обернулся, нашел мешок и пододвинул к себе.

ТЫ ПОЖАЛЕЕШЬ, —

появились буквы на груди существа.

— Нет, — сказал Дойл, — не пожалею.

Он встал на колени, быстро развернул мешок, засунул внутрь своего пленника и затянул резинку.

Внезапно на первом этаже дома вспыхнул свет и послышались голоса из окна, выходящего в сад. Где-то в темноте скрипнула дверь и захлопнулась с пустым гулким звуком. Дойл бросился к веревке. Мешок мешал ему бежать, но необходимость убраться подальше помогла ему быстро вскарабкаться на дерево. Он притаился среди ветвей и осторожно подтянул к себе болтающуюся веревку, сворачивая ее свободной рукой.

Существо в мешке начало ворочаться и брыкаться. Он приподнял мешок и стукнул им о ствол. Существо сразу затихло.

По дорожке, скрытой в тени, застучали уверенные шаги, и Дойл увидел в темноте огонек сигары. Раздался голос, явно принадлежащий Меткалфу.

— Генри!

— Да, сэр, — отозвался Генри с веранды.

— Куда, черт возьми, задевался ролла?

— Он где-то там, сэр. Он никогда не отходит далеко от дерева. Вы же знаете, он за него отвечает.

Огонек сигары загорелся ярче. Видно, Меткалф яростно затыкнулся.

— Не понимаю я этих ролл, Генри, — сказал он. — Столько лет прошло, а я их все не понимаю.

— Правильно, сэр, — сказал Генри. — Их трудно понять.

Дойл чувствовал запах дыма. Судя по запаху, это была хорошая сигара.

Ну и понятно, Меткалф, конечно, курит самые лучшие. Не будет же человек, у которого растет денежное дерево, задумываться о цене сигар!

Дойл осторожно отполз фута на два по суку, стараясь приблизиться к стене.



Огонек сигары дернулся и обернулся к нему, показывая, что Меткалф услышал шум на дереве.

— Кто там? — крикнул он.

— Я ничего не слышал, сэр. Это, наверно, ветер.

— Никакого ветра, дурак. Это опять та же кошка.

Дойл прижался к ветке, неподвижный, но вместе с тем собранный в комок, готовый к действию, как только в этом возникнет необходимость. Он выругал себя за неосторожность.

Меткалф сошел с дорожки и стоял освещенный лунным светом, разглядывая дерево.

— Там что-то есть, — объявил он торжественно. — Листва такая густая, что я не могу разглядеть — что. Но могу поклясться, что это та самая чертова кошка. Она просто преследует роллу.

Он вынул сигару изо рта и выдохнул пару изумительных по форме колец дыма, которые, как привидения, поплыли в воздухе.

— Генри, — крикнул он, — принеси мне ружье! Двадцатый калибр стоит прямо за дверью.

Этого было достаточно, чтобы Дойл бросился к стене. Он чуть не упал, но удержался. Он уронил веревку, чуть не потерял мешок. Ролла внутри снова начал трепыхаться.

— Тебе что, попрыгать охота? — яростно зашипел Дойл.

Он перекинул мешок через забор и услышал, как он ударился о мостовую. Он понадеялся, что не убил роллу, потому что его пленник мог оказаться ценным приобретением. Его можно будет продать в цирк, там любят такие идиотские штуки.

Дойл добрался до ствола и соскользнул вниз, не думая о последствиях, и в результате исцарапал руки и ноги о шершавую кору.

Из-за забора доносились страшный рев и леденящие кровь ругательства Дж. Говарда Меткалфа.

Дойл подобрал мешок и побежал к тому месту, где он оставил машину. Добежав, он бросил мешок внутрь, сел за руль и поехал по сложному, заранее разработанному маршруту, чтобы уйти от возможной погони.

Через полчаса Дойл остановился у небольшого парка и принялся обдумывать ситуацию.

В ней было и плохое и хорошее.

Ему не удалось собрать такой урожай с дерева, как ему хотелось, и к тому же теперь Меткалф обо всем знает и вряд ли удастся повторить набег.

С другой стороны, Дойл теперь знал наверняка, что денежные деревья существуют, и у него был ролла, вернее, он предполагал, что эту штуку зовут ролла.

И этот ролла — такой тихий в мешке — основательно покорял его, охраняя дерево.

При свете луны Дойл видел, что руки его в крови, а царапины на ребрах под разорванной рубашкой жгли огнем. Штанина промокла от крови.

Он почувствовал, как мурашки побежали по коже. Че-

ловеку ничего не стоит подцепить инфекцию от неизвестной зверюги.

А если пойти к доктору, тот обязательно спросит, что с ним случилось. Он, конечно, сможет сослаться на собаку. Но вдруг доктор поймет, что это вовсе не собачьи укусы? Вернее всего, доктор сообщит куда следует.

Нет, решил он, слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать, — никто не должен знать об его открытии. Потому что, пока Дойл единственный человек, знающий о денежном дереве, можно извлечь из этого выгоду. Особенно если у него есть ролла, таинственным образом связанный с этим деревом, и которого, даже и без дерева, при удачных обстоятельствах можно превратить в деньги.

Он снова завел машину.

Минут через пятнадцать он остановил ее в переулке, в который выходили зады старых многоквартирных домов. Он вышел из машины, захватив с собой мешок.

Ролла все еще был неподвижен.

— Странно, — сказал Дойл.

Он положил руку на мешок, и мешок был теплым, а ролла чуть пошевелился.

— Жив еще, — сказал Дойл с облегчением.

Он пробирался между мусорных урн, куч гнилых досок и груд пустых консервных банок. Кошки разбежались в темноте при его виде.

— Ничего себе местечко для девушки, — сказал Дойл сам себе. — Совершенно неподходящее место для такой девушки, как Мейбл.

Он отыскал черный ход и поднялся по скрипучей лестнице, прошел по коридору и отыскал дверь в комнату Мейбл. Она схватила его за рукав, втащила в комнату, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной.

— Я так волновалась, Чак!

— Нечего было волноваться, — сказал Дойл. — Непредвиденные осложнения. Вот и все.

— Твои руки! — вскрикнула она. — Твоя рубашка!

Дойл весело подкинул мешок.

— Это все пустяки, Мейбл, — сказал он. — Главное, посмотри, что в мешке.

Он огляделся.

— Окна закрыты?

Она кивнула.

— Передай мне настольную лампу, — сказал он. — Она подойдет вместо дубинки.

Мейбл вырвала провод из штепселя, сняла абажур и протянула ему лампу.

Он поднял лампу, потом наклонился над мешком и развязал его.

— Я его пару раз пристукнул, — сказал он, — и еще бросил в переулок, так что он, наверно, оглушенный, но все-таки рисковать не стоит.

Он перевернул мешок и вытряхнул роллу наружу. За ним последовал душ из двадцатидолларовых бумажек.

Ролла с достоинством поднялся с пола и встал прямо,

хотя трудно было понять, что он стоит прямо. Его задние лапы были такими короткими, а передние такими длинными, что казалось, он сидит, как собака.

Ролла был больше всего похож на волка, воющего на луну, или, вернее, на большого карикатурного бульдога, воющего на луну.

Мейбл испустила отчаянный визг и бросилась в спальню, захлопнув за собой дверь.

— Замолчи ты, бога ради! — сказал Дойл. — Всех перебудит. Соседи подумают, что я тебя убиваю.

Кто-то затопал наверху. Мужской голос зарычал: «Заткнитесь там, внизу!»

На груди роллы загорелась надпись:

ГОЛОДНЫЙ. КОГДА КУШАТЬ?

Дойл проглотил слюну. Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу.

В ЧЕМ ДЕЛО? — продолжал ролла. — ДАВАЙ ГОВОРИ, Я СЛЫШУ.

Кто-то громко постучал в дверь.

Дойл быстро оглянулся и увидел, что пол засыпан деньгами. Он принялся собирать их и рассовывать по карманам.

В дверь продолжали стучать.

Дойл собрал деньги и открыл дверь.

В дверях стоял мужчина в нижнем белье. Он был высок и мускулист. Он возвышался над Дойлом по крайней мере на фут. Из-за его плеча выглядывала женщина.

— Что здесь происходит? — спросил мужчина. — Мы слышали, как кричала женщина.

— Мышку увидела, — сказал Дойл.

Мужчина не спускал с него глаз.

— Большую мышку, — уточнил Дойл. — Может быть, даже крысу.

— А вы, мистер... с вами что случилось? Где это вы так рубаху порвали?

— В карты играл, — сказал Дойл и попытался захлопнуть дверь.

Но мужчина распахнул ее еще шире и вошел в комнату.

— Если не имеете ничего против, я бы взглянул... — сказал он.

С замирающим чувством в желудке Дойл вспомнил о ролле.

Он обернулся. Но роллы не было.

Открылась дверь спальни, и вышла Мейбл. Она была холодна, как лед.

— Вы здесь живете, леди? — спросил мужчина в исподнем.

— Да, она здесь живет, — сказала женщина, оставшаяся в дверях. — Я ее часто вижу в коридоре.

— Этот парень к вам пристает?

— Ни в коем случае, — сказала Мейбл. — Это мой друг.

Мужчина обернулся к Дойлу.

— Ты весь в крови, — сказал он.

— Что делать... — сказал Дойл. — Всегда из меня кровь идет.

Женщина потянула мужчину за рукав.

Мейбл сказала:

— Уверяю вас, ничего не произошло.

— Пошли, милый, — настаивала женщина, продолжая тянуть его за рукав. — Они в нас не нуждаются.

Мужчина с неохотой ушел.

Дойл захлопнул дверь и запер ее.

— Черт возьми, — сказал он, — нам придется отсюда сматываться. Он будет думать об этом, потом позвонит в полицию, они явятся и нас заберут...

— Мы ничего не сделали, Чак, — сказала Мейбл.

— Может, и не сделали. Но я полицию не люблю. Не хочу отвечать на вопросы.

Она подошла к нему ближе.

— Он прав, ты весь в крови, — сказала она. — И руки и рубашка.

— И нога тоже, — сказал он. — Это меня ролла обработал.

Ролла вышел из-за кресла.

НЕ ХОТЕЛ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ВСЕГДА ПРЯЧУСЬ ОТ НЕЗНАКОМЫХ.

— Вот так он и говорит, — сказал Дойл, не скрывая восторга.

— Что это? — спросила Мейбл, отходя на два шага.

Я РОЛЛА.

— Мы встретились под денежным деревом, — сказал Дойл. — Малость повздорили. Он имеет какое-то отношение к дереву — то ли стережет его, то ли еще что.

— Ты денег достал?

— Немного. Понимаешь, этот ролла...

ГОЛОДЕН, —

изобразил ролла.

— Иди сюда, — сказала Мейбл, — я тебя перевяжу.

— Да ты что, не хочешь послушать?..

— Не очень. Ты снова попал в неприятность. Мне кажется, что ты нарочно попадаешь в неприятности.

Она повела его в ванную.

— Сядь на край ванны, — сказала она.

Ролла подошел к двери и остановился.

У ВАС НЕТ НИКАКОЙ ПИЩИ? —

спросил он.

— О боже мой! — воскликнула Мейбл. — А что вы хотите?

ФРУКТЫ. ОВОЩИ.

— Там в кухне на столе есть фрукты. Вам показать?

САМ НАЙДУ, —

заявил ролла и исчез.

— Не пойму этого коротышку, — сказала Мейбл. — Сначала он тебя искушал, а теперь лучший друг.

— Я его пристукнул пару раз, — ответил Дойл. — Научил себя уважать.

— И он еще умирает с голоду, — заметила Мейбл с осуждением. — Да сядь ты на край ванны. Я тебя обмою.

Он сел, а она забралась в аптечку, достала бутылку с чем-то коричневым, бутылочку спирта, вату и бинт. Она встала на колени и закатала штанину Дойла.

— Плохо, — сказала она.

— Это он зубами до меня добрался, — сказал Дойл.

— Надо пойти к доктору, Чак, — сказала Мейбл. — Можешь схватить заражение крови. У него, может быть, грязные зубы.

— Доктор будет задавать много вопросов. У меня и без него хватит неприятностей.

— Чак, а что это такое?

— Это ролла.

— А почему его зовут ролла?

— Не знаю. Зовут, и все.

— А чего ты тогда притащил его с собой?

— Он стоит не меньше миллиона. Его можно продать в цирк или зоопарк. Даже могу сам выступить с ним в ночном клубе. Показывать, как он говорит, и вообще.

Она быстро и умело промыла ему раны.

— И еще вот почему я его сюда притащил, — сказал Дойл. — Меткалф у меня в руках. Я знаю кое-что такое... У меня теперь ролла, а ролла связан как-то с этими денежными деревьями.

— Ты теперь что, о шантаже заговорил?

— Ни в коем случае! Я в жизни никого не шантажировал. Просто небольшое дельце между мной и Меткалфом. Может быть, в благодарность за то, что я держу язык за зубами, он даст мне одно из своих денежных деревьев.

— Но ты же сам говоришь, что там всего одно денежное дерево.

— Это я одно видел. Но там темно, и, может быть, еще были. Ты понимаешь, такой человек, как Меткалф, никогда не удовлетворится одним денежным деревом. Если у него есть одно, он еще себе вырастит. Могу поспорить на что угодно, у него есть двадцатидолларовые деревья, и пятидесятидолларовые деревья, и, может быть, даже стодолларовые деревья.

Он вздохнул: «Хотел бы я провести хотя бы пять минут под стодолларовым деревом! Я бы на всю жизнь себя обеспечил. Я бы двумя руками рвал».

— Сними рубашку, — сказала Мейбл. — Мне нужно добраться до царапин.

Дойл стащил рубашку через голову.

— Знаешь что, — сказал он, — могу поклясться, что

не только у Меткалфа есть денежные деревья. У всех богатей есть. Они, наверно, объединились в секретное общество и поклялись никогда об этом не болтать. Я не удивляюсь, что все деньги идут оттуда. Может быть, правительство вовсе не печатает никаких денег, а только говорит, что печатает...

— Замолчи, — скомандовала Мейбл, — и не дергайся. Она наклеивала пластырь ему на грудь.

— Что ты собираешься делать с роллой? — спросила она.

— Мы его положим в машину и отвезем к Меткалфу. Ты останешься в машине с роллой и, если что-нибудь будет не так, уедешь. Пока ролла у нас — Меткалф под прицелом.

— Ты с ума сошел! Чтобы я осталась один на один с этой штукой! После всего, что она с тобой наделала.

— Возьмешь палку, и, если он чего-нибудь, ты его палкой.

— Ничего подобного, — сказала Мейбл. — Я с ним не останусь.

— Хорошо, — сказал Дойл, — мы его положим в багажник. Завернем в одеяло, чтобы не ушибся. Может, даже лучше, если он будет заперт.

Мейбл покачала головой.

— Надеюсь, что ты прав, Чак. И надеюсь, что мы не попадем в неприятности.

— И не думай об этом, — ответил Дойл. — Давай двигаться отсюда. Нам нужно выбраться, пока этот бездельник не догадался позвонить в полицию.

В дверях появился ролла, поглаживая себя по животу.

БЕЗДЕЛЬНИК, — спросил он. — **ЧТО ЭТО?**

— О господи, — сказал Дойл, — как я ему объясню?

БЕЗДЕЛЬНИК — ЭТО ПОДОНОК?

— В этом что-то есть, — согласился Дойл. — Бездельник — это похоже на подонка.

МЕТКАЛФ СКАЗАЛ: ВСЕ ДРУГИЕ ЛЮДИ — ПОДОНКИ.

— Знаешь, что я тебе скажу, Меткалф в чем-то прав, — сказал Дойл.

ПОДОНОК — ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДЕНЕГ.

— Никогда не слышал такой формулировки, — сказал Дойл. — Но если так, можете считать меня подонком.

МЕТКАЛФ СКАЗАЛ: ПЛАНЕТА НЕ В ПОРЯДКЕ — СЛИШКОМ МАЛО ДЕНЕГ.

— Вот тут я с ним полностью согласен.

ПОЭТОМУ Я НА ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕ СЕРЖУСЬ.

— Боже мой, — сказала Мейбл, — он оказался болтуном!

МОЯ РАБОТА — ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕРЕВЕ.

СНАЧАЛА Я РАССЕРДИЛСЯ,

НО ПОТОМ ПОДУМАЛ:

**«ВЕДНЫЙ ПОДОНОК, ЕМУ НУЖНЫ ДЕНЬГИ,
НЕЛЬЗЯ ЕГО ВИНИТЬ».**

— Это с твоей стороны очень благородно, — сказал Дойл, — жалко, что ты не подумал об этом прежде, чем начал меня жевать. Если бы в моем распоряжении было хотя бы пять минут...

— Я готова, — сказала Мейбл. — Если ты не передумал, поехали.

3

Дойл медленно шел по дорожке, ведущей к дверям дома Меткалфа. Дом был темен, и луна склонялась к вершинам сосен, которые росли на другой стороне улицы.

Дойл поднялся по кирпичным ступенькам и остановился перед дверью. Позвонил и подождал.

Ничего не случилось.

Он снова позвонил, и снова никакого ответа.

Потянул дверь. Она была заперта.

«Бежали», — сказал Дойл про себя.

Он вышел на улицу, обошел дом вокруг и взобрался на дерево в переулке. Сад за домом был темен и молчалив. Дойл долго наблюдал за ним, но не заметил никакого движения. Потом вытащил из кармана фонарик и осветил им. Светлый кружок прыгал в темноте, пока не наткнулся на участок развороченной земли.

У него перехватило дыхание, и он долго светил в том направлении, пока не убедился, что не ошибся.

Он не ошибся. Денежное дерево исчезло. Кто-то выкопал его и увез.

Дойл выключил фонарик и положил его в карман. Спустился с дерева и вернулся к машине. Мейбл не выключала мотора.

— Они смотались, — сказал Дойл. — Никого нет. Выкопали дерево и смотались.

— Ну хорошо, — ответила Мейбл. — Я даже рада. Теперь ты хоть не будешь ввязываться в авантюры с денежными деревьями.

— Поспать бы... — зевнул Дойл.

— Я тоже хочу спать. Поехали домой и выспимся.

— Ты, может, выспишься, а я — нет, — сказал Дойл. — Укладывайся на заднее сиденье. Я буду за рулем.

— Куда теперь поедем?

— Когда я снимал Меткалфа сегодня днем, он сказал мне, что у него есть ферма за городом. На западе, у города Милвилл.

— А ты тут при чем?

— Вот что, если у него до черта денежных деревьев...

— Но у него же только одно дерево. И в саду городского дома.

— А может, и до черта. Может, это было только для того, чтобы иметь в городе карманные деньги.

— Ты хочешь сказать, что мы поедем к нему на ферму?

— Сначала надо заправиться и посмотреть по карте, где этот Милвилл. Поспорить могу, там у него целый де-нежный сад. Представь себе только — ряды деревьев, и каждое увешано деньгами.

4

Старик, хозяин единственного магазина в Милвилле, где продавались посуда, бакалейные товары, где ещё умещалась аптека и почтовая контора, покрутил серебряный ус.

— Ага, — сказал он. — У Меткалфа ферма, за холмами на том берегу реки. И даже название у нее есть — «Веселый холм». Вот скажите мне, с чего бы человеку так называть свою ферму?

— Чего только люди не делают! — ответил Дойл. — Как туда поскорее добраться?

— Вы спрашиваете?

— Конечно, спрашиваю. Только что спросил..

Старик покачал головой.

— Вас пригласили? Меткалф вас ждет?

— Не думаю.

— Тогда вам туда не попасть. Ферма вся окружена забором. А у ворот стража, там даже специальный домик для охранников. Так что, если Меткалф вас не ждет, не надейтесь туда попасть.

— Я попробую.

— Желаю успеха, но вряд ли у вас выйдет. Скажите мне лучше, почему бы этому Меткалфу себя так вести? Места наши тихие. Никто не обносит своих ферм оградой в восемь футов высотой, с колючей проволокой поверху. Никто бы и денег не набрал, чтобы такую ограду построить. Должно быть, он кого-то сильно боится.

— Чего не знаю, того не знаю, — сказал Дойл. — Все-таки как туда добраться?

Старик достал из-под прилавка бумажный пакет, вытащил из кармана огрызок карандаша и лизнул грифель, прежде чем принялся медленно рисовать план.

— Переедете через мост и поезжайте по этой дороге — налево не поворачивайте, та дорога к реке ведет, — доедете до оврага, и начнется холм. Наверху повернете налево, и оттуда до фермы Меткалфа останется миля.

Он еще раз лизнул карандаш и нарисовал грубый четырехугольник.

— Вот тут, — сказал он. — Участок не маленький. Меткалф купил четыре фермы и объединил их.

В машине ждала раздраженная Мейбл.

— Итак, ты с самого начала был не прав, — сказала она. — У него нет никакой фермы.

— Всего несколько миль осталось, — ответил Дойл. — Как там ролла?

— Опять проголодался, наверное. Стучит в багажнике.

— С чего бы ему проголодаться? Я ему два часа назад сколько бананов скормил!

— Может, ему скучно? Он чувствует себя одиноким?
— У меня и без него дел достаточно, — сказал Дойл. — Не хватало еще, чтобы я держал его за ручку.

Он забрался в машину, завел ее и поехал по пыльной улице, пересек мост, но вместо того, чтобы переехать овраг, повернул на дорогу, которая вела вдоль реки. Если карта, которую нарисовал старик, была правильной, думал он, то, следуя по дороге вдоль реки, можно выехать к ферме с тыла.

Мягкие холмы превратились в крутые утесы, покрытые лесом и кустарником. Извилистая дорога ухудшилась. Машина подъехала к глубокому оврагу, разделявшему два утеса. По дну оврага протянулась полужаросшая колея.

Дойл свернул на эту колею и остановился.

Затем вылез и постоял с минуту, глядя вдоль оврага.

— Ты чего встал? — спросила Мейбл.

— Я собираюсь зайти к Меткалфу с тыла, — сказал он.

— Ты меня здесь не оставишь.

— Я ненадолго.

— К тому же здесь москиты, — пожаловалась она, отмахиваясь.

— Закроешь окна.

Он пошел, но Мейбл окликнула его:

— Там ролла остался.

— Он до тебя не доберется, пока заперт в багажнике.

— Но он так стучит! Что, если кто-нибудь пройдет мимо и услышит?

— Даю слово, что по этой дороге уж недели две как никто не ездил.

Пищали москиты. Он попытался отогнать их.

— Послушай, Мейбл, — взмолился он, — ты хочешь, чтобы я с этим делом покончил, не так ли? Ты же ничего не имеешь против норковой шубы? Ты ведь не откажешься от бриллиантов?

— Нет, наверно, — призналась она. — Только поспеши, пожалуйста. Я не хочу здесь сидеть, когда стемнеет.

Он повернулся и пошел вдоль оврага.

Все вокруг было зеленым — глубокого бесформенного летнего зеленого цвета. И было тихо, если не считать писка москитов. В приученную к бетону и асфальту города голову Дойла вползал тихий страх перед зеленым безмолвием лесистых холмов.

Он прихлопнул москита и пожегил ся.

— Тут нет ничего, что повредило бы человеку, — вслух подумал он.

Путешествие было не из легких. Овраг вился между холмов, и сухое ложе ручья, заваленное валунами и кучами гальки, кидалось от одного склона к другому. Время от времени Дойлу приходилось взбираться на откос, чтобы обойти завалы.

Москиты с каждым шагом становились все надоедливее. Он обмотал шею носовым платком и надвинул шлягу на глаза. Ни на секунду не прекращая войны с москитами, он уничтожал их сотнями, но толку было мало.

Овраг сузился и круто пошел вверх. Дойл завернул за поворот и обнаружил, что дальнейший путь закрыт. Масса сучьев, обвитых виноградом, перекрывала овраг, обеими сторонами плотина упиралась в деревья, растущие на отвесных скалах оврага.

Пробраться дальше не было никакой возможности. Завал казался сплошной стеной. Сучья были укреплены камнями и цементированной грязью, принесенными ручьем. Цепляясь ногтями и нащупывая ботинками неровности, он вскарабкался наверх, чтобы обойти препятствие. Москиты бросались на него эскадронами, он отломил ветку с листьями и пытался с ее помощью отогнать их.

Так он стоял, тяжело дыша и всхлипывая, пытаясь наполнить легкие воздухом. И думал, как же это удалось ему попасть в такую переделку. Это приключение было не по нему. Его представления о природе никогда не распространялись за пределы городского ухоженного парка.

И вот пожалуйста, он стоит в глубине лесов, старается вскарабкаться на чертом забытые холмы, пробираясь к месту, где могут водиться денежные деревья — ряды, сады, леса денежных деревьев.

— Никогда бы не пошел на это, — сказал он себе, — ни за что, кроме как за деньги.

Он огляделся и обнаружил, что завал был всего два фута толщиной и одинаков по толщине на всей своей протяженности. И задняя сторона завала была гладкой, как будто ее специально загладили. Нетрудно было понять, что ветви и камни накопились здесь не годами, не были принесены ручьем, а были сплетены так тщательно, что стали единым целым.

Кто бы, удивлялся он, мог решиться на такой труд? Здесь требовалось и терпение, и умение, и время.

Он постарался разобраться, как же были сплетены сучья, но ничего не понял. Все было так запутано, что казалось сплошной массой.

Немного передохнув и восстановив дыхание, он продолжил путь, пробираясь сквозь ветки и тучи москитов.

Понемногу деревья поредели, так что Дойл видел уже впереди синее небо. Местность выровнялась, но он не смог прибавить шагу — икры ног сводило от усталости, и ему пришлось удовлетвориться прежней скоростью передвижения.

Наконец он вырвался на поляну. С запада прилетел свежий ветер, и москиты исчезли, если не считать тех, которые удобно устроились в складках пиджака.

Дойл бросился на траву и распростерся, дыша, как измученный пес. Перед ним меньше чем в ста ярдах виднелась ограда фермы Меткалфа. Она, как блестящая змея, протянулась по склонам холмов. Перед ней дополнительным препятствием тянулась широкая полоса сорняков, как будто кто-то вскопал землю вдоль изгороди и посеял сорняки, как сеют пшеницу.

Далеко на холме среди крон деревьев виднелись неясные

крыши. А к западу от зданий раскинулись сад, длинные ряды деревьев.

Интересно, подумал Дойл, это игра воображения или действительно форма деревьев была такой же, как у того дерева в городском саду Меткалфа? И только ли воображение подсказывало ему, что зеленый цвет листьев отличался от зелени лесных деревьев и казался таким же, как цвет новеньких долларов?

Солнце палило ему в спину, и он почувствовал тепло сквозь просохшую рубашку. Посмотрел на часы. Было уже больше трех.

Дойл снова взглянул в сторону сада и на этот раз увидел среди деревьев несколько маленьких фигур. Он напрягся, чтобы разглядеть, кто это, и ему показалось, что они похожи на ролл.

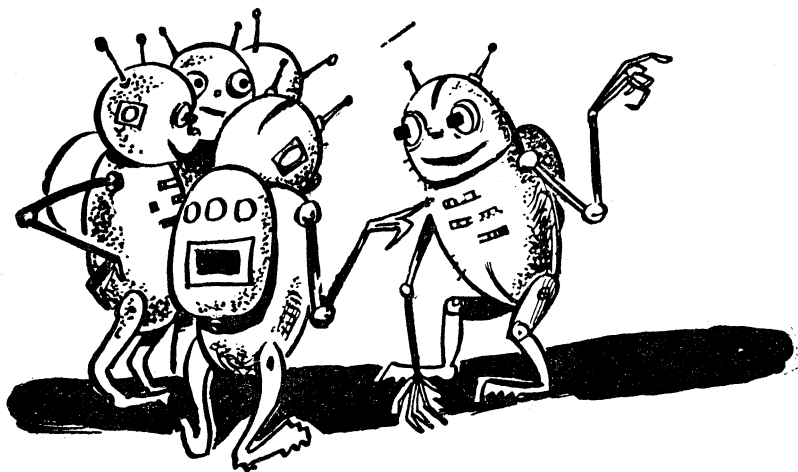
Дойл начал перебирать различные варианты поведения на случай, если не найдет Меткалфа, и самым разумным ему показалось забраться в сад. Он пожалел, что не захватил с собой мешка из-под сахара, который дала ему Мейбл.

Беспокоила его и изгородь, но он отогнал и эту мысль. Он будет думать о ней, когда подойдет время перелезть через нее.

Думая так, он полз по траве, и у него это неплохо получалось. Он уже добрался до полосы сорняков, и никто еще его не заметил. Как только он заберется в сорняки, будет легче, потому что там можно спрятаться. Он подкрадется к самой изгороди.

Он дополз до сорняков и вздрогнул, увидев, что это самые густые заросли крапивы, какие ему когда-либо приходилось видеть.

Он протянул руку, и крапива обожгла ее. Как оса. Он потерял руку.



Тогда он приподнялся, чтобы заглянуть через крапиву. Один из ролл спускался по склону к изгороди, и теперь уже не было никакого сомнения, что под деревьями были именно роллы.

Дойл нырнул за крапиву, надеясь, что ролла его не заметил. Он лежал ничком на траве. Солнце пекло, и ладонь его, обожженная крапивой, горела как ошпаренная. И уже нельзя было решить, что хуже: mosquito укусы или крапивный ожог.

Дойл заметил, что крапива колыхается, будто под ветром, это было странно, потому что ветер как раз затих.

Крапива продолжала колыхаться и, наконец, разошлась в стороны, образовав дорожку от него к изгороди. Стебли, что были справа, легли направо и прижались к земле, а стебли, что были слева, склонились налево. И вот перед ним была тропинка, по которой можно было пройти к самой изгороди.

Ролла стоял за изгородью, и на груди у него горела яркая надпись печатными буквами:

ПОДОЙДИ СЮДА, ПОДОНОК.

Дойл несколько секунд колебался. То, что его обнаружили, никуда не годилось. Теперь уж наверняка все труды и предосторожности пропали даром и таиться дальше в траве не имело никакого смысла. Он увидел, что другие роллы спускались по склону к изгороди, тогда как первый продолжал стоять, не гася пригласительной надписи на груди.

Потом буквы погасли. Но крапива продолжала лежать, и дорожка оставалась свободной. Роллы, которые спускались по склону, тоже подошли к изгороди, и все пять — их было пять — выстроились в ряд.

У первого на груди загорелась новая надпись:

ТРИ РОЛЛЫ ПРОПАЛИ.

А на груди второго зажглось:
ТЫ НАМ МОЖЕШЬ СООБЩИТЬ?

У третьего:
МЫ ХОТИМ С ТВОЕЙ ПОГОВОРИТЬ.

У четвертого:



О ТЕХ, КТО ПРОПАЛ.

У пятого:

ПОЖАЛУИСТА, ПОДОЙДИ, ПОДОНОК.

Дойл поднялся с земли. Это могло быть ловушкой. Чего он добьется, разговаривая с роллами? Но отступать было поздно: он мог вовсе лишиться возможности подойти к изгороди.

С независимым видом он медленно пошел по дорожке.

Подошел к изгороди и сел на землю, так что его голова была на одном уровне с головами ролл.

— Я знаю, где один из них, — сказал он, — но не знаю, где два других.

**ТЫ ЗНАЕШЬ ОБ ОДНОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ
В ГОРОДЕ С МЕТКАЛФОМ?**

— Правильно.

ТЫ НАМ СКАЖИ, ГДЕ ОН.

— В обмен.

Все пятеро зажгли надписи:

ОБМЕН?

— Я вам скажу, где он, а вы впустите меня в сад на час, ночью, так чтобы Меткалф не знал. А потом выпустите обратно.

Они посоветовались — на груди у каждого вспыхивали непонятные значки. Потом они повернулись к нему и выстроились плечом к плечу.

МЫ ЭТОГО НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ.

МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ.

МЫ ДАЛИ СЛОВО.

МЫ РАСТИМ ДЕНЬГИ.

МЕТКАЛФ ИХ РАСПРОСТРАНЯЕТ.

— Я бы их не стал распространять, — сказал Дойл. — И могу обещать, что не буду их распространять. Я их себе оставлю.

НЕ ПОЙДЕТ, —

зажегся ролла № 1.

— А что это за соглашение с Меткалфом? Почему это вы его заключили?

ИЗ БЛАГОДАРНОСТИ, —

сказал ролла № 2.

— Не разыгрывайте меня. Чувствовать благодарность к Меткалфу...

ОН НАШЕЛ НАС.

ОН СПАС НАС.

ОН ЗАЩИЩАЕТ НАС.

И МЫ ЕГО СПРОСИЛИ:

«ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ?»

— Ага, а он сказал: вырастите мне немножко денег.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО ПЛАНЕТА

НУЖДАЕТСЯ В ДЕНЬГАХ.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ

СДЕЛАЮТ СЧАСТЛИВЫМИ

ВСЕХ ПОДОНКОВ ВРОДЕ ТЕБЯ.

— Черта с два! — сказал Дойл с негодованием.

МЫ ИХ РАСТИМ.

ОН ИХ РАСПРОСТРАНЯЕТ.
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ
СДЕЛАЕМ ВСЮ ПЛАНЕТУ
СЧАСТЛИВОЙ.

— Нет, вы только посмотрите, какая милая компания миссионеров!

МЫ ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЕМ.

— Миссионеры. Люди, которые занимаются всякими благотворительными делами. Творят добрые дела.

МЫ ДЕЛАЛИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
НА МНОГИХ ПЛАНЕТАХ.
ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА ЗДЕСЬ?

— А при чем тут деньги?

ТАК СКАЗАЛ МЕТКАЛФ.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО НА ПЛАНЕТЕ ВСЕГО ДОСТАТОЧНО,
ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ.

— А где те другие роллы, которые пропали?

ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ. ОНИ УШЛИ.

МЫ ОЧЕНЬ ВОЛНУЕМСЯ — ЧТО С НИМИ?

— Вы не пришли к общему мнению по части того, стоит ли растить деньги? Они, наверно, думали, что лучше растить что-нибудь другое?

МЫ НЕ СОГЛАСНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
МЕТКАЛФА. ТЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ОН
НАС ОБМАНЫВАЕТ.

ОСТАЛЬНЫЕ ДУМАЮТ, ЧТО ОН
БЛАГОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

«Вот тебе и компания! — подумал Дойл. — Ничего себе, благородный человек!»

МЫ ГОВОРИЛИ ДОСТАТОЧНО.
ТЕПЕРЬ ПРОЩАЙ.

Они повернулись, как по команде, и зашагали по склону обратно к саду.

— Эй! — крикнул Дойл, вскакивая на ноги.

Сзади раздалось шуршание, и он обернулся.

Крапива распрямилась и закрыла дорожку.

— Эй! — крикнул он снова, но роллы не обратили на него никакого внимания. Они продолжали взбираться на холм.

Дойл стоял на вытоптанном участке, а вокруг поднималась стеной крапива — листья ее поблескивали под солнцем. Крапива протянулась футов на сто от изгороди и доставала Дойлу до плеч.

Конечно, человек может пробраться сквозь крапиву. Ее можно раздвигать ботинками, топтать, но время от времени она будет жечь, и, пока выберешься наружу, будешь весь обожжен до костей. Да и хочется ли ему выбраться отсюда?

В конце концов он был не в худшем положении, чем раньше. Может, даже в лучшем. Ведь он безболезненно пробрался сквозь крапиву. Правда, роллы предательски оставили его здесь.

Нет никакого смысла, подумал он, пробираться сейчас обратно. Ведь все равно придется возвращаться тем же путем, чтобы добраться до изгороди.

Он не смел перелезть через изгородь, пока не стемнело. Но и деваться больше было некуда.

Присмотревшись к изгороди, он понял, что перебраться через нее будет нелегко. Восемь футов металлической сетки и поверху три ряда колючей проволоки, прикрепленной к брускам, наклоненным на внешнюю сторону.

Сразу за изгородью стоял старый дуб, и, если бы у него была веревка, он мог бы закинуть ее на ветви дуба, но веревки у него не было, так что придется обойтись без нее.

Он прижался к земле и почувствовал себя очень несчастным. Тело саднило от москитных укусов, рука горела от крапивного ожога, ныли нога и царапины на груди, а кроме того, он не привык к такому яркому солнцу. Ко всему разболелся зуб. Этого еще не хватало!

Он чихнул, боль отдалась в голове, и зуб заболел еще сильнее. «В жизни не видал такой крапивы!» — сказал он себе, устало разглядывая могучие стебли.

Почти наверняка роллы помогли Меткалфу ее вырастить. У ролл неплохо получалось с растениями. Уж если они умудрились вырастить денежные деревья, значит, они могли сотворить какие хочешь растения. Он вспомнил, как ролла заставил крапиву улечься и освободить для него дорожку. Наверняка это сделал именно ролла, потому что ветра почти не было, а если бы даже ветер и был, он все равно не мог бы дуть сразу в две стороны.

Он никогда не слышал ни о ком, похожем на ролл. А они говорили что-то о добрых делах на других планетах. Но что бы они там ни делали на других планетах, на этой их явно провели.

Филантропы, подумал он. Миссионеры, может быть, из другого мира. Компания идеалистов. И вот попались на планете, которая, может быть, ничем не похожа ни на один из миров, в которых они побывали.

Понимают ли они, подумал он, что такое деньги? Интересно, что за байку преподнес им Меткалф?

Видно, Меткалф был первым, кто на них натолкнулся. И он, как человек опытный в денежных делах и в обращении с людьми, сразу понял, как воспользоваться счастливой встречей. К тому же у Меткалфа есть организация, гангстерская банда, хорошо усвоившая законы самосохранения, так что она смогла обеспечить нужную секретность. Одному человеку бы не справиться.

Вот так ролл и провели, полностью одурачили. Хотя нельзя было сказать, что эти роллы глупы. Они выучили язык. И не только разговорный, но и писать научились и соображают неплохо. Они, наверное, даже умнее, чем кажутся. Ведь между собой они общаются беззвучно, а приучились же разбирать звуки людей.

Солнце давно уж исчезло за крапивными зарослями. Скоро наступят сумерки, и тогда, сказал себе Дойл, мы примемся за дело.

Сзади крапива зашуршала, и он вскочил. Может быть, подумал он лихорадочно, дорожка снова открылась. Может быть, дорожка открывается автоматически, в определенные часы.

Это было до какой-то степени правдой. Дорожка и в самом деле открылась. И по ней шел еще один ролла. Крапива расступалась перед ним и смыкалась, как только он проходил.

Ролла подошел к Дойлу.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ПОДОНОК.

Это не мог быть ролла, запертый в багажнике. Это, должно быть, один из тех, что отказались участвовать в денежном деле.

ТЫ БОЛЬНОЙ?

— Все чешется, — сказал Дойл, — и зуб болит, и каждый раз, как чихну, кажется, голова раскалывается.

МОГУ ПОЧИНИТЬ.

— Разумеется, ты можешь вырастить аптечное дерево, на каждой ветке которого будут расти таблетки, и бинты, и всякая чепуха.

ОЧЕНЬ ПРОСТО.

— Ну ладно, — сказал Дойл и замолчал. Он подумал, что и в самом деле для роллы это может быть очень просто. В конце концов большинство лекарств добывается из растений, а уж никто не сравнится с роллами по части выращивания диковинных растений.

— Ты можешь мне помочь, — сказал Дойл с энтузиазмом. — Ты можешь лечить разные болезни. Ты можешь даже найти средство против рака и изобрести что-нибудь, что будет лечить сердечные болезни. Да, возьмем, к примеру, обычную простуду...

ПРОСТИ, ДРУГ, НО МЫ С ВАМИ НЕ ХОТИМ ИМЕТЬ НИЧЕГО ОБЩЕГО.

ВЫ НАС ВЫСТАВИЛИ НА ПОСМЕШИЩЕ.

— Ага, значит, ты один из тех, кто убежал? — сказал Дойл с некоторым волнением в голосе. — Ты раскусили игру Меткалфа...

Но ролла уже не слушал его. Он как-то подтянулся, стал выше и тоньше, и губы его сложились в кружок, будто он собирался крикнуть. Но он не издал ни единого звука. Ни звука, но ощущение в воздухе такое, что зубы у Дойла застучали. Это было удивительно — ощущение вопящего ужа в тишине сумерек, когда ветер тихо облетал темнеющие деревья, шуршала крапива, и вдали кричала птица, возвращавшаяся в гнездо.

По другую сторону изгороди раздались звуки шагов, и в густеющих сумерках Дойл увидел пять ролл, бегущих вниз по склону.

Что-то происходит, подумал Дойл. Он был в этом уверен. Он ощутил серьезность момента, но не понимал, что бы это могло быть.

Ролла рядом с ним послал нечто вроде крика, крика слишком высокого, чтобы его могло уловить человеческое ухо, и теперь, услышав этот крик, роллы из сада бежали к нему.

Пять ролл достигли изгороди и выстроились вдоль нее. На груди их переливались непонятные значки и буквы их родного языка. И грудь того, что стоял рядом с Дойлом, тоже светилась непонятными значками, которые менялись так быстро, что казались живыми.

Это спор, подумал Дойл. Пятеро за изгородью спорили с тем, кто стоял снаружи, и в споре чувствовалось напряжение.

А он стоял здесь, как невинный прохожий, попавший в самую гущу семейного скандала.

Роллы махали руками, и в спускающейся темноте знаки на них, казалось, стали ярче.

Ночная птица с криком пролетела над ними, и Дойл поднял голову, чтобы посмотреть, что это за птица, и тут же увидел фигуры людей, бегущих к изгороди. Силуэты их ясно виднелись на фоне более светлого неба.

— Опасность! — крикнул Дойл и удивился, зачем это он кричит и почему.

Услышав его крик, пять ролл обернулись, и на них появились одинаковые символы, как будто они внезапно обо всем договорились.

Раздался треск, и Дойл снова поднял голову. Он увидел, что старый дуб клонится по направлению к изгороди, как будто гигантская рука толкает его. Дерево клонилось все быстрее и, наконец, с силой ударило по изгороди. Дойл понял, что пора бежать.

Он отступил на шаг, но когда опустил ногу, то не обнаружил земли. Он с секунду старался удержать равновесие, но не смог и свалился в яму, и тут же над его головой раздался грохот, и громадное дерево, разорвав изгородь, упало на землю.

Дойл лежал тихо, не смея пошевелиться. Он оказался в какой-то канаве. Она была неглубокая, фута три, не больше, но он упал очень неудачно и прямо в спину ему вонзился камень. Над ним нависала путаница ветвей и сучьев — вершиной дуб закрыл канаву. По ветвям пробежал ролла. Он бежал куда быстрее и тише, чем можно было предположить.

— Они туда побежали, — произнес голос. — В лес. Их нелегко будет найти.

Ему ответил голос Меткалфа:

— Надо найти их, Билл. Мы не можем допустить, чтобы они сбежали.

После паузы Билл ответил:

— Не понимаю, что это в них засело. Они, казалось, были вполне довольны.

Меткалф выругался:

— Это все фотограф. Ну, тот самый парень, который залез на дерево и сбежал от меня. Я не знаю, что он наде-

лал и что еще наделает, но могу поклясться, что он в этом замешан. И он где-нибудь здесь.

Билл немного отошел, и Меткалф сказал:

— Если он вам встретится, вы знаете, как поступить.

— Конечно, босс.

— Среднего роста, малохолдный.

Они исчезли. Дойл слышал, как они пробираются сквозь крапиву, кроя ее последними словами.

Дойл поежился.

Ему надо было выбираться отсюда, и как можно скорее, потому что скоро взойдет луна.

Меткалф и его мальчики шутить не собирались. Они не могли позволить, чтобы их одурачили в таком деле. Если они его заметят, вернее всего, они будут стрелять без предупреждения.

Сейчас, когда все охотятся за роллами, был шанс забраться незаметно в сад. Хотя, вернее всего, Меткалф оставил своих людей сторожить деревья.

Дойл подумал немного и отказался от этой мысли. Лучшее, что осталось ему в его положении, — это добраться как можно скорее до машины и уехать отсюда подальше.

Он осторожно выполз из канавы. Некоторое время он просидел среди ветвей, прислушиваясь. Ни звука.

Он прошел сквозь крапиву, следуя по пути, протоптанному людьми.

И побежал по склону к лесу. Впереди раздался крик, и он остановился, замер. Потом возобновил бег, добрался до первых кустов и залег.

Вдруг он увидел, как из лесу, поднимаясь над вершинами деревьев, показался бледный силуэт. Первые лучи лунного света поблескивали на нем. Эта вещь оставила за собой светящийся след. Она была острой сверху и расширялась книзу — словом, походила на летящую рождественскую елку.

Внезапно Дойл вспомнил о завале в овраге, сплетенном так прочно. И тогда он понял, что это за елка летит по небу.

Роллы работали с растениями, как люди с металлами. Если они могли вырастить денежное дерево и послушную крапиву, то вырастить космический корабль для них не составляло большого труда.

Корабль, казалось, двигался медленно. С него свешивалось нечто вроде каната, на конце которого болталось что-то вроде куклы. Кукла корчилась и издавала визгливые крики.

Кто-то кричал в лесу:

— Это босс! Билл, да сделай ты что-нибудь!

Но было ясно, что Билл ничего не сможет сделать.

Дойл выскочил из кустов и побежал. Теперь самое время скрыться от этих людей. Они заняты судьбой босса, который все еще держался за канат — может быть, якорную цепь корабля, а может быть, плохо принайтовленную часть оболочки. Хотя, принимая во внимание искусство ролл,

вряд ли можно было допустить, что они плохо принятовили какую-нибудь часть корабля.

Он отлично мог представить, что случилось: Меткалф увидел, как роллы влезают в корабль, и бросился к ним, крича, стреляя на ходу, и в этот момент корабль поднялся, а свисающий с него канат крепко обвился вокруг его ноги.

Дойл достиг леса и побежал дальше вниз по склону, путаясь в корнях, спотыкаясь, падая, поднимаясь снова. И бежал, пока не ударился головой в дерево так, что искры посыпались из его глаз.

Он сел на землю и ощупал лоб, убежденный, что проломил голову. Слезы лились из глаз и стекали по щекам. Но лоб не был проломлен, и крови не было, хотя нос заметно распух.

Потом он поднялся и медленно пошел дальше, на ощупь выбирая путь, потому что, хоть луна и взошла, под деревьями было совершенно темно.

Наконец Дойл добрался до сухого русла ручья и пошел вдоль него. Он спешил, вспомнив, что Мейбл ждет его в машине. Она, верно, разозлилась, подумал он. Ведь он обещал вернуться до темноты.

Он споткнулся о кусок плетеных ветвей, оставшийся в овраге. Провел рукой по почти полированной поверхности этой ткани и постарался представить, что случилось здесь несколько лет назад.

Космический корабль, падающий на землю, потерявший контроль. Меткалф, который оказался неподалеку...

«Черт знает, что бывает в наши дни!» — подумал он.

Если бы им встретился не Меткалф, а кто-нибудь другой, кто думает не только о долларах, теперь бы по всей земле могли бы расти рядами деревья и кусты, дающие человечеству все, о чем оно мечтает в самом деле, — средства от всех болезней, настоящие средства от бедности и страха. И может быть, многое другое, о чем мы еще и не догадываемся.

Но теперь они улетели, улетели в корабле, построенном двумя невероятными роллами под самым носом Меткалфа.

Он продолжал путь, думая о том, что надежды человечества так и не сбылись, разрушенные жадностью и злобой.

Теперь они улетели. «Постойте минутку, не все улетели!» Один ролла остался. Ведь его ролла лежит в багажнике.

Он прибавил шаг.

«Что же теперь делать? — размышлял он. — Направиться прямо в Вашингтон? Или в ФБР?»

Что бы ни случилось, оставшийся ролла должен попасть в нужные руки. И так уж слишком много потеряно. Больше рисковать нельзя. Если ролла встретится с учеными или свяжется с правительством, он сможет еще многое сделать.

Он начал волноваться, не случилось ли чего с роллой, запертым в багажнике. Он вспомнил, что тот стучался.

А что, если он задохнется? А что, если он хотел сказать

что-то важное? Что, если у него была серьезная причина, из-за которой он стучал в багажнике?

Он бежал по сухому руслу, скользя по гальке, спотыкаясь о валуны. Москиты летели за ним густой тучей, он отмахивался от них, он так спешил, что не замечал их укусов.

Там, наверху, банда Меткалфа обирает деревья, подумал он, срывая миллионы долларов. Теперь их игра кончена, и они об этом знают. Им ничего не остается, как оборвать деревья и исчезнуть как можно быстрее.

Возможно, денежные деревья требуют непрерывного наблюдения ролл, для того чтобы производить деньги.

На машину он наткнулся внезапно, обошел ее в почти полной темноте и постучал в окно.

Внутри взвизгнула Мейбл.

— Все в порядке! — крикнул Дойл. — Это я. Я вернулся.

Она отперла дверь, и он вскарабкался в машину. Мейбл прижалась к нему, и он обнял ее.

— Прости, — сказал он. — Прости, что я задержался.

— Все в порядке, Чак? — спросила она.

— Да, — промычал он. — Можно сказать, что в порядке.

— Я так рада, — сказала она облегченно. — Хорошо, что все в порядке. А то ролла убежал.

— Убежал? Ради бога, Мейбл...

— Не злись, Чак. Он все стучал и стучал. И мне стало его жалко. Я, конечно, боялась, но мне было его в самом деле жалко. Так что я открыла багажник и выпустила его. И все было в порядке. Он оказался милейшим существом...

— Итак, он убежал, — сказал Дойл, все еще не до конца веря этому. — Но, может быть, он где-нибудь по соседству прячется в темноте...

— Нет, — вздохнула Мейбл. — Он побежал по оврагу, как собака, когда ее зовет хозяин. Было уже темно, но я бросилась вслед за ним. Я звала его, но понимала, что он убежал и мне его не догнать. Впрочем, это уже не играет никакой роли. Ролла тебе больше не нужен. Правда, мне жалко, что он убежал. Я бы с ним подружилась. Он так интересно говорил, куда интереснее, чем попугай. Я повязала ему ленточку на шею, желтую ленточку, и он стал такой миленький.

— Еще бы! — сказал Дойл.

Он думал о ролле, летящем в пространстве на только что выращенном корабле. Он направляется к далекому солнцу, увозя с собой, может быть, величайшие надежды человечества, а на шее у него желтая ленточка.

Перевел с английского Александр Ге



КИРА СОШИНСКАЯ

БЕДОЛАГА

Юмористический рассказ

Мы вышли к Хайлыру двадцатого числа. Для этого пришлось сделать большой крюк, но никто из нас даже не пикнул. В Хайлыре нас ждало оборудование, а кроме того, Седов должен был договориться с председателем местного колхоза о лошадях и рабочих, — мы будем закладывать шурфы на водоразделе.

Мы думали, приедем в Хайлыр, вымоемся в бане, а потом, чистые, пахнущие мылом и осиновыми вениками, усядемся на берегу ловить в озере тайменей или кого-нибудь помельче. И проходящие мимо жители Хайлыра (общим числом сорок человек) будут говорить нам: «Ну как ло-



вится?», и мы будем отвечать: «Благодарствуем, однако». Такая у нас должна была наступить жизнь.

Уже на дальних подходах к Хайлыру мы заподозрили что-то неладное. Над широкой безлесной долиной подымались дымы. Мы еще не могли разглядеть за холмами источников этих дымов, но все это напоминало долину гейзеров на Камчатке.

— Или всесоюзный слет туристов, — сказал Ким.

— Или Клондайк в расцвете известности, — сказал Руслан, более начитанный, чем Ким.

Над нами пролетели гуськом три вертолета, снижаясь к долине. С заднего вертолета увидели нас и скинули красный вымпел. «Привет отважным девушкам-ужгородкам» — обнаружили мы в нем записку. После этого нас охватило подозрительное уныние.

— А это Хайлыр? — спросила я.

— Ошибиться трудно, — ответил Седов. — Двести сорок пять километров до ближайшего поселка.

— Да что я, в Хайлыре не был, что ли? — обиделся Иван Никитич. — Сейчас перевалим у той лиственницы и увидим.

И мы увидели. Сам Хайлыр, пожалуй, не изменился. Те же два десятка домиков, то же Хайлырское озеро — длинное, серое. Те же высокие голые сопки за дальним берегом.

Но все остальное резко изменилось. На склоне долины, вдоль озера, а также продолжением единственной улицы Хайлыра толпились палатки и подобные же временные сооружения для жилья. На ровной площадке за селом стояли рядами вертолеты, и время от времени какой-нибудь из них начинал перебирать винтовыми лопастями, будто раздумывал, не улететь ли ему отсюда. Посадочная площадка была обнесена неровной стеной ящиков, мешков и загадочных предметов разного размера. По улице поселка не спеша ехало по временным рельсам сооружение, похожее на портальный кран. На вершине сооружения сидел человек с киноаппаратом и сверху снимал кипящую жизнь.

Честно говоря, меня больше всего поразила серая «Волга» с шашечками на боках и ярко горящим зеленым огоньком. «Волга» стояла перед сельсоветом, и местные собаки недоверчиво обнюхивали ее задний бампер. Я их понимала — в Хайлыр не ведет ни одной дороги, — а от реки двадцать три километра тропой через сопки.

На краю поселка строился небольшой оркестр. Оркестр сверкал трубами, и гудкие звуки настраивающихся инструментов долетали даже до нас.

— Все ясно, — сказал Руслан. — Снимается кино.

На склоне нас обогнали двигавшиеся размеренным полубегом девушки, покрытые здоровым бронзовым загаром. Девушки сказали нам хором:

— Физкультпривет!

Руслан сказал им вслед:

— Привет отважным девушкам-ужгородкам.



Девушки остановились, развернулись к нам фронтом и ответили:

— Спа-си-бо!

— Вот угадал, — удивился Иван Никитич.

Мы пристроились в хвост девичьему отряду.

При виде колонны оркестр грянул «Сормовскую лирическую». Под ногами побрякивали консервные банки и взлетали орлятами обрывки местных и центральных газет.

Ведомые Иван Никитичем, мы пробрались задами к избе председателя. Последнее, что мы увидели, перед тем как нырнули в избу, были два вертолета, которые совместно волокли по небу непонятное сооружение из железной арматуры.

Мы не ожидали застать председателя, но застали его. Председатель был на вид мрачен и недружелюбен.

— Здравствуй, Савватий, — сказал Иван Никитич, снимая кепку с поломанным козырьком.

— А, — сказал председатель. — И ты тоже, Иван.

— Вот приехали, — сказал Иван Никитич. — Тебе из Ильинского звонили о нас?

— О всех звонили, — сказал председатель. — А я телефон сломал. Нарочно. Трубку оторвал и в озеро бросил. Кого привел-то?

— С партией я. Вот Седов, наш начальник.

— Здравствуйте, — выдвинулся вперед Седов. — Тут оборудование должно быть. И о лошадях поговорить надо.

— Так вы не на озеро?

— Какое озеро?

— Так вы по делу?

— Разумеется, — сказал Седов. — А что тут у вас?

— Да уж ты, Савватий, прости, — сказал Иван Никитич, — мы попросту. В баньке хотели помыться. А у тебя тут кино.

— Какое такое кино? — спросил Савватий. Потом подумал и сказал удрученно: — Кино, сплошное кино. Да вы садитесь. Откуда идете?

— С Улятая.

— Лукича видали?

— Привет передавал.

— За привет спасибо.

За окном загромыхал приближающийся оркестр.

— Ты б, Савватий, рассказал людям, — произнес, усаживаясь на скамью, Иван Никитич.

Бух-бух! — хлопал барабан.

— Если бы я знал, — сказал председатель, — то своими руками его в озеро утопил.

— Кого это?

— Расторгуева, кого же еще?

— Что ж это он натворил?

— Сначала я все думал — так, обычаями интересуется. Я ему деда моего подсунул. Уж на что любитель байки рассказывать. Вот дед и разжег его, как костер. Он и меня спрашивал, а я говорю: да, слышал от стариков.

— Так ты по порядку, Савватий, — сказал Иван Никитич.

Но по порядку не получалось. Все время за окном мельтешили

разнообразно одетые люди, потом к стеклу прижалась седая борода, принадлежавшая очень толстому человеку, и человек, взяв бородой по раме, стал знаками объяснять, что хотел бы купить свежего молочка.

— Из Москвы, — сказал председатель. — Очень уважаемый человек, специалист. — Председатель достал из кармана записную книжку и прочел: — По римскому праву.

— А что ходит?

— Молока свежего ищет. Даже к озеру не подходил еще.

— Да ты расскажи, Савватий, не томи. Считай, люди второй месяц в тайге, никого не видели, а тут у тебя такое веселье.

— Это все Расторгуев. Правда, отплачутся ему мои слезки, — председатель, более-менее связно рассказал о трагедии, постигшей поселок.

Приехал в прошлом году сюда человек по фамилии Расторгуев. Вреда от него никто не ждал. Был он в экспедиции, да сломал ногу. Так что экспедиция ушла дальше, оставила его лечиться в Хайлыре. Поковылял товарищ Расторгуев по берегу озера и увидел в нем волнение. Озеро-то небольшое, но очень рыбное, выгодное для колхоза озеро. Он о выгоде не подумал, а решил, что в озере водится неведомый науке зверь или ящер. Вернулся в Хайлыр и начал у стариков спрашивать, что они об этом чудовище знают. Ну, старики, конечно, не хотят в грязь лицом ударить. «Есть, — говорят, — у нас чудовище, боимся, — говорят, — к озеру ходить в ясную погоду. Змей у нас — дракон там обитает».

Сказали ему об этом старики, закурили и пошли к озеру рыбу ловить, план для колхоза выполнять. А Расторгуев записал их имена-фамилии на бумажку, подлечил ногу, нащелкал снимков неясных и уехал в центр. Прошло месяца три, снег выпал, дни короче стали, пурга завывала. Пришла почта. В почте номер областной газеты и статья в ней Расторгуева, младшего научного сотрудника. «Чудовище озера Хайлыр» называется. И все почти как по правде описано. И озеро, и поселок, и то, что старики говорят, — с упоминанием их имен и отчеств. Потом рассуждения некоторые про английских чудовищ, которых уже вот-вот найдут, а у нас до сих пор ничего не было. Потом еще фотография, на которой ничего разобрать нельзя. И призыв искать и искать чудовищ реликтового типа. После статьи было от редакции послесловье. Редакция писала, что как хорошо, что уже скоро найдем чудовище. А еще прошло несколько месяцев, и московский журнал «Популярные знания» статью перепечатал. И фотографию Расторгуева, потому что на фотографии, которую он на озере снял, ничего разобрать нельзя было. Но там уже эта статья не одна была. Два доктора наук на нее опровержения написали и доказали, что в Хайлырском озере никаких драконов водиться не может, потому что там фауна не такая. И еще один доктор написал, что водиться, конечно, не может, но все равно это очень интересно.

— Ну, а вы-то что? Есть у вас чудовище? — вдруг заинтересовался Руслан.

— Какое чудовище? — В голосе председателя вспыхнула угроза, но тут же устало затухла, будто не в силах был он подерживать в себе накал негодования.

— Ну, которое Расторгуев видел?

— Старики, они мало ли что говорят? Старикам верить не всегда надо.

— Ну вот, значит, только подсохло с весны, звонок мне из района: «Чего скрываешь чудовище?» Это Лукича сын, ты его, Иван Никитич, знаешь. Так вот, звонит он теперь мне, говорит: «Я главный районный ветеринар и очень интересуюсь, почему с мест сигналов не было». Я говорю, чепуха это все, у меня половина мужиков на лесозаготовках, некому рыбу ловить, а еще геологи скоро нагрянут, и каждой партии рабочих давай. Так что некогда чудовищами заниматься. А он мне: «Если, — говорит, — поймашь собственными местными силами, иметь тебе награду, и всему району слава мировая».

— Вот стервец! — сказал Иван Никитич. — Славу мировую захотел.

— Я ему и говорю: «Ты перестань мне агитацию разводить, лучше бы нам механика прислал, — движок вторую неделю не работает». Ну, поговорили, а еще через неделю снова звонок. Из области. Попросят, значит, приготовить восемь мест в нашей гостинице или Доме колхозника для научной комиссии. Проверять будут. Посмеялись мы, какие у нас дома для приезжих, но две избы выделили. А там уж началось. Что ни день — новая группа. Тут уж и туристы добрались, и какие-то филологи, и... да я тебе прочитаю, кто вчера приехал.

Председатель достал пухлую записную книжку, полистал ее и прочел:

— «Девятнадцатое. Приехали на чудовище глядеть: юных натуралистов из поселка Казачьего — семнадцать человек с руководителем, делегация Союза композиторов — три человека и один рояль, туристов-одиночек — сто сорок четыре человека, представителей магаданского Общества слепых — два человека и поводырь, альпинистов-перворазрядников — восемь, аквалангистов-черноморцев...»

— Ты погоди, Савватий, — сказал Иван Никитич. — Ты нам скажи, чего изнуряешься? Ведь слава-то какая.

— Какая слава? Какая слава? Думаешь, кто, кроме того специалиста, которому парное молоко нужно, обо мне знает? А так, кроме мороки да возни, никакой радости. Думаешь, хоть одна рыбина в озере осталась? Мне весь план рыболовный на восемь лет сорвали, охоту вокруг уничтожили... Кто мог — все в тайгу подались. Только старухи остались.

Председатель поднялся из-за стола и пошел, ссутулясь, в угол, где висел длинный серый дождевик.

— Хоть наши чего? — спросил Руслан.

— А кто их поймет? Чуть стемнеет, начинают видеть. То один, то другой. А совсем темно станет, так каждый второй видит.

Седов молчал в углу. Я так поняла, что он думал о рабочих, которых нам не нанять, и о грузе, который не найти среди всего обилия товаров, сваленных в этом пустынном уголке.

...Озеро и в самом деле было небольшим, полкилометра в диаметре. Серая поверхность его была довольно плотно уставлена плавучими средствами, — от катеров на подводных крыльях до грубо сработанных плотов и отдельных бревен. Рыбу в озере

уже всю выловили — берег был покрыт тонким слоем мелкой чешуи. Энтузиасты громко переговаривались, ссорились порой из-за удобного места, падали в воду и пели хоровые песни.

Береговые наблюдатели обладали в массе более совершенной аппаратурой. Бинокли, старинные медные подзорные трубы и почему-то несколько теодолитов. Суровые молодцы, постукивая молотами, монтировали громадную клетку из железной арматуры.

— Чепуха какая-то, — сказал Ким. — Я пойду баню поищу, там сейчас, наверно, совсем пусто.

В этот момент издалека, от того берега, раздался неясный, но громкий вопль. Вопль прокатился по всему озеру, приобретая по мере движения вопросительные интонации. Затрепетали подзорные трубы, и со словами «оно, оно» все помчалось к берегу.

Но тревога оказалась ложной. Тут же выяснилось — крикнули с дежурного вертолета, — у одного из катеров подломилось подводное крыло. Ким ушел искать баню, а мы с Русланом остались на берегу. Еще раза два поднималась тревога, но оба раза она оказывалась ложной. Начало темнеть, и сильно похолодало. Загорелись костры.

— Пошли, что ли? — сказала я Руслану.

Руслан, в котором здоровый скепсис одолев, наконец, любознательность, согласился со мной. Так мы покинули таинственное озеро.

А утром я вышла снова на берег озера, просто погулять. Берег оказался неожиданно пустынным. Клондайк спал. Он поздно ложился и поздно вставал. Только вертолеты гудели на посадочной площадке, да Седов зычно ругался с пилотами.

Чем дальше я шла по берегу, тем меньше встречалось кострищ и банок из-под сгущенного молока. Наконец я вышла к сопкам дальнего берега. Здесь природа сохранилась почти в полной чистоте, если не считать отдельных обгорелых дровин да чьих-то очков, прибитых волнами.

Поселок казался издалека мирным и тихим, и если бы не несколько ранних дымков, можно было подумать, что весь вчерашний день приснился.

Солнце принялось вылезать понемножку из-за сопки, и туман над озером заволновался, расплываясь к берегам.

Я вынула из кармана краюху хлеба и откусила кусок. Стоя есть было неудобно. Поэтому я подошла к самому берегу и села на камень, выдающийся далеко в воду.

Вода передо мной заволновалась, расступилась, и из нее показалась длинная черная шея с маленькой головой и большими печальными глазами. Шея была настолько худа, что позвонки далеко выпирали, натягивая кожу.

«Ага, это и есть чудовище, — подумала я и не стала двигаться, чтобы его не спугнуть. — То-то я всех удивляю, когда вернусь».

Чудовище выползло на мелководе, с трудом помогая себе худым хвостом, и робко покачало головой перед моим носом. Я прикинула на глаз размеры чудовища — получилось метров семь-восемь. Не очень крупное чудовище.

Чудовище, наконец, решилось, наклонило голову к моей руке, взяло острыми частыми зубами с ладони кусок хлеба и, тяжело вздохнув, проглотило его. Краюха медленно продвигалась по

шее, и я видела ее движение, пока она не исчезла в желудке, Чудовище закрыло глаза от наслаждения. Потом понюхало мою руку и обнаружило, что хлеб кончился.

Издали, от поселка донесся голос громкоговорителя: «Начинаем утреннюю зарядку». Услышав последовавшие за этим бодрые музыкальные фразы, чудовище сделало попытку выбраться на берег и уйти в тайгу. Но лапы не держали объемистое тело, легонько трещали ребра, и складки кожи задевали о плавник. Крупная слеза выкатилась из правого глаза ящера. Чудовище брезгливо оттолкнуло подплывшую телефонную трубку с обрывком провода и тихо ушло обратно под воду.

Тут я поняла, что никому ничего рассказывать не буду.

Когда я вернулась в поселок, энтузиасты уже встали и на всех глазах бурно обсуждали планы на сегодняшний день.

Я вошла к нам в избу и сказала неожиданно для себя:

— Хоть бы дождь пошел. Да посильнее.

— Ты с ума сошла, Кирка, — сказал Ким, который зашивал дыру в рюкзаке. — Испортит нам весь отдых.

— Может, их разгонит, — сказал председатель. Он посмотрел на меня внимательно. — Гуляла? — спросил он.

— Да.

— На тот берег?

— Угу.

— Кир, — сказал Руслан. — Седов просил тебя подойти к нему на посадочную площадку. Какое-то дело есть.

— Иду, — ответила я, хотя мне идти не хотелось.

Председатель догнал меня во дворе.

— погоди, Кира, как тебя по батюшке.

Я остановилась. Председатель понизил голос.

— Видала? — спросил он.

— А вы как догадались?

— Да мы его там по утрам подкармливаем. Чтобы не подох. Жалко все-таки.

Потом помолчал немного и добавил:

— А дождь сегодня должен пойти. И как следует. Я областное радио слушал. Очень метеорологи обещали. Вся надежда на них.





Племя Чиковых

В камере хранения Московского вокзала было обнаружено, что в одной из корзин, сданных на хранение, находится труп. На вокзал выехали трое: судебно-медицинский эксперт, Васильев и прокурор. Эксперт установил, что человек убит ударом тупого орудия по голове. Это был мужчина лет сорока, может быть тридцати пяти. Труп был обложен со всех сторон толстыми пачками разорванных газет. Одет он был в парусиновую толстовку, бумажные брюки и матерчатые туфли. Так одевалась в те годы половина Петрограда. В карманах не было ничего.

Прокурор решил, что надо ждать известий о каком-нибудь пропавшем человеке и тогда выяснить, с кем он встречался в тот день, когда корзина была сдана на хранение.

Васильев вынул лупу и начал тщательнейшим образом осматривать клочки газет. Прокурор сердился, что Васильев задерживает его, и немного раздраженно подшучивал, мол, это только Шерлок Холмс прежде всего вынимал лупу и начинал все подряд осматривать. Через полтора часа [за это время прокурор успел и поиздеваться над Васильевым, и пошипеть на него, и, наконец, окончательно разъярившись, угрюмо замолчать] Васильев увидел, наконец, на одном клочке сделанную карандашом и уже полустершуюся надпись: «Чиков». Еще на одном клочке была надпись. Собственно, не надпись, а только три буквы «Дми», остальное было оторвано. Можно было предположить, что это начало фамилии «Дмитриев». Можно было также предположить, что обе фамилии были написаны почтальонами для того, чтобы знать, в чей почтовый ящик опустить или кому передать газеты.

Глава из документальной повести.

Книгу эту написали два автора: Иван Васильевич Бодунов — комиссар милиции третьего ранга в отставке, и Евгений Самойлович Рыс — литератор.

На глазах Ивана Васильевича Бодунова прошли примечательные страницы истории борьбы Советского государства с преступностью. В его послужном списке числится ликвидация многих банд и поимка известных в свое время рецидивистов.

Первые годы работы Бодунова были годами, когда советский аппарат розыска еще только создавался; годами, когда народная милиция начала одерживать первые победы над доставшимся Советской республике в «наследство» от царизма преступным миром.

Люди, пришедшие на работу в уголовный розыск от станков и с фронта, учились находить и обезвреживать преступников, быть прокищательными следователями и умелыми экспертами. В их рядах был и Бодунов.

По его живым воспоминаниям рассказывают авторы о событиях, в которых действует главный их герой, следователь Васильев.

Труп увезли в морг. Судебно-медицинский эксперт и прокурор, сухо протрившись с Васильевым, уехали каждый к себе на работу.

Васильев поехал в адресный стол. Результаты справки в адресном столе были ужасны. Оказалось, что Дмитриевых в Петрограде больше трех тысяч. Даже Чиковых — а Васильеву казалось, что это фамилия довольно редкая, — оказалось 218. Следует иметь в виду, что в то время, а это был 1923 год, работников в угрозыске не хватало. Васильеву приходилось подчас самому сидеть в засаде, самому следить за подозреваемым человеком, то есть делать работу, которую мог бы сделать гораздо менее квалифицированный человек. Он понимал, что никто за него не обойдет и этих 218 Чиковых, чтобы определить, кто именно из них, или их родственников, или соседей, мог совершить убийство. Но Васильев был человек упорный. Машин в угрозыске было тоже мало, и они нужны были для оперативных целей: выехать по срочному вызову на место преступления, или на облаву, или на задержание преступника. Васильев с трудом убедил начальство разрешить ему несколько дней не являться на работу и стал обходить записанные им адреса.

Среди Чиковых были самые разные люди. Был слесарь Чиков, был про-

фессор Чиков, был директор треста Чиков, был студент Чиков... Словом, почти все социальные категории, почти все профессии и почти все возрасты имели своих представителей в многочисленном племени Чиковых.

Нелегкое это было дело. Прийти прямо к какому-нибудь Чикову и спросить его, не убил ли он недавно человека, конечно, нельзя. Нет никаких оснований и допрашивать каждого Чикова о том, как он проводит время и, в частности, как он провел тот день, когда согласно копии квитанции корзина была сдана на хранение. Надо, придумывая невинную причину, выведывать у соседей, что за человек Чиков, который живет рядом с ними, как он живет, с кем дружит и не замечали ли за ним чего-нибудь подозрительного. Выведывать это надо так, чтобы собеседник ни в коем случае не заподозрил, что с ним говорит сотрудник уголовного розыска. Если этот Чиков честный человек, то зачем же осложнять ему жизнь подозрениями. Если же именно этот Чиков и был убийцей, то, предупрежденный о том, что угрозыск напал на след, он может уничтожить какие-нибудь улики, а может просто уехать из Петрограда неизвестно куда.

Словом, с соблюдением всех предосторожностей каждый визит занимал два, а иногда и три часа.

Васильев очень торопился. Начальство уже ворчал, что он занимается безнадежным делом и забросил работу. Было ясно, что недалеко тот день, когда ему просто прикажут прекратить бестолковое хождение и приказу придется подчиниться.

Он выезжал в половине шестого или в шесть утра. В эти ранние часы попадались ему возле домов только дворники, но дворники — народ разговорчивый и обычно хорошо знающий своих жильцов. Позже вставали соседи и удавалось поболтать с ними. Васильев придумал несколько историй, чтобы оправдать свои расспросы. Будто бы он служил когда-то в армии с Павлом Петровичем Чиковым, а этот хоть и Петр Павлович, но Васильев думал, что, может быть, адресный стол перепутал. Ах, нет, не перепутал! Но он, собственно, не твердо уверен, может быть, его товарища тоже звали не Павлом Петровичем, а Петром Павловичем. Ах, этому Чикову семьдесят пять лет! Нет, его товарищ был моложе. Он был по специальности токарь. Пьяница был жуткий, но человек хороший. Ах, этот Чиков профессор-филолог и никогда в жизни не пил! Тогда это, наверное, не тот. Ну, извините, что побеспокоил.

Иногда Чиков оказывался однофамильцем его дяди, иногда даже его братом от другого отца, и братская любовь заставляла Васильева подробнейшим образом узнавать все об этом Чикове.

У Васильева даже не было времени пообедать. Он покупал и на ходу съедал два-три пирожка и заканчивал свое путешествие в десять вечера. Позже было неудобно беспокоить людей. Васильев выматывался за день так, что еле добирался до дому. Чиковы расселились в самых разных концах города, многие из них жили на пятах и десятых этажах. Были Чиковы, проживавшие в отдельных квартирах, и долго приходило искать людей, которые хоть что-нибудь о них знали. И все-таки каждый вечер, вернувшись домой, Васильев вычеркивал из своего списка ино-

гда шесть, иногда семь, а иногда даже восемь адресов. Он мечтал о том дне, когда одолеет, наконец, половину списка. Он решил, что устроит себе праздник в этот торжественный день, пойдет пообедать в настоящую столовую.

Между тем план розыска, который предложил прокурор, осуществлялся тоже. Поступило заявление о пропаже мужа от Козловой, младшего бухгалтера одного из петроградских трестов. Ее привезли в morg, и она опознала убитого.

Восемнадцатого июня, по ее словам, то есть в день, когда корзина была сдана в камеру хранения, Козлов уехал с утра в одно из учреждений. Он один раз ездил на три года по договору на север, годик отдохнул и теперь решил снова поехать. Так вот, в учреждении он должен был договориться об этом. А почему она так поздно заявила? А потому, что муж часто пропадал. Он у нее слабохарактерный, любит выпить. В этот день она ему деньги дала, чтобы он купил себе бутылочку вина к обеду. Когда он не пришел, решила, что, наверное, встретил кого-нибудь и загулял.

Поехали в учреждение, в котором должен был побывать Козлов. Он, оказывается, был там, и не только был, а подписал договор и получил подъемные. Большую сумму. С фотографией мужа прошли по всему пути, от учреждения до его дома. Заходили во все чайные, во все пивные. Показывали фотографию, но буфетчики и официанты уверяли в один голос, что такой человек не заходил. По словам жены, врагов у ее мужа не было, друзей тоже не было. На севере были друзья, а здесь нет. Что ж, он год всего в Петрограде и пожил. Запросили тот северный город, где раньше жил убитый. Оттуда сообщили, что все его друзья продолжают там работать и никто из них в июне в отпуск не ездил.

Итак, следствие зашло, как говорится, в тупик, и только один Васильев упрямо продолжал свое бесконечное путешествие по Чиковым. Он обошел уже семьдесят с лишним человек с этой фамилией. И все это были люди, не вызывавшие никаких подозрений. Никто из них не был связан с уголовным миром. Это был трудовой народ, и обо всех соседи отзывались хорошо.

Обследовав однажды вечером семьдесят седьмого Чикова и придя домой смертельно усталым, Васильев впервые подумал: может быть, бросить к дьяволу эту чиковщину? Однако следователь все же решил довести дело до конца.

Утром он проснулся в пять утра, быстро выпил стакан чаю, побрился и отправился в поход. Семьдесят восьмой Чиков жил на Сытной улице. В большом каменном доме нумерация квартир была перепутана, и, где находится нужная квартира, понять было невозможно. Следователь решил зайти в домоуправление, потому что хотя было самое время дворнику убирать двор, но дворника нигде не было видно.

По севести говоря, застать в такую рань кого-нибудь в домоуправлении Васильев тоже не рассчитывал.

Но ему повезло. В маленьком полуподвальном помещении за столом, над которым висела торжественная надпись «Управдом», сидел молодой человек в рубашке с расстегнутым воротом и просматривал какие-то бумаги. Очевидно, он пришел поработать пораньше, когда никто не мешает.

— Где восемнадцатая квартира! — спросил Васильев.

— А кто вам нужен в восемнадцатой квартире! — ответил вопросом управдом.

— Чиков.

— Я и есть Чиков.

Васильев растерялся. Вся его конспирация рушилась. Уже нельзя было, придумав какую-нибудь историю, расспросить дворника или соседей. И хотя это было против всяких правил ведения следствия, Васильев решил действовать в открытую. Он вынул и показал свое служебное удостоверение.

По-видимому, оно Чикова ничуть не испугало.

— Слушаю вас, — спокойно сказал он.

— Скажите, пожалуйста, какие вы выписываете газеты?

— Как вам сказать, — улыбнулся управдом, — мы, собственно говоря, вдвоем с моим заместителем выписываем две газеты. Я «Петроградскую правду», а он «Красную вечернюю». Это формально. А фактически мы выписали обе газеты на контору и каждую читаем оба. Зарплата, знаете, невелика, приходится экономить.

Очень приятное было лицо у управдома. Открытое, веселое. Неужели он мог убить человека? Не верилось Васильеву.

— Вот, видите, только что принесли. Одна мне, вот и написано «Чикову», а другая Дмитриеву. Это мой заместитель.

Следователь даже вздрогнул, так это было неожиданно. Сочетание двух фамилий — Чикова и Дмитриева. Надо же, чтобы так повезло! Он помолчал потому, что думал, что если сейчас заговорит, то голос выдаст его волнение.

— А за двенадцатое июня газета у вас сохранилась? — спросил, наконец, он.

— А я за двенадцатое июня ее не видел, я четырнадцатого вернулся из отпуска. Жил у родных в деревне.

— Значит, за двенадцатое газеты получил Дмитриев?

— Да, когда один в отпуске, другой получает обе газеты.

— Понятно, — сказал Васильев. Он видел, что Чикова удивляют его вопросы. Почему угрозыску нужно знать, какие он выписывает газеты и где газета за двенадцатое июня? Но управдом был, видимо, человеком дисциплинированным и отвечал подробно. Вряд ли он врал насчет отпуска — это ведь проверить легко. Но нужно на всякий случай будет это сделать.

— А ваш заместитель скоро, наверное, придет?

— Нет, не придет. Он теперь в отпуске. Вот мне и приходится за двоих отдуваться.

— И давно он в отпуске?

— Я приехал четырнадцатого, он не то пятнадцатого, не то шестнадцатого ушел. У него родные в деревне Затугульне — это в двенадцати километрах от Токсова. Вот он к ним и поехал рыбу удить.

Снова все рушилось. Убийство было совершено восемнадцатого. Если Дмитриев уехал шестнадцатого... Хотя в отпуске он мог уйти шестнадцатого и на день-два задержаться в городе.

Васильев взял адрес Дмитриева и отправился к нему.

В домоуправлении подтвердили, что Дмитриев уехал в отпуск шестнадцатого. Жил он в отдельной квартире, и никаких соседей у него не было.

Васильев уже собирался уходить, когда управдом вдруг окликнул его и сказал:

— Живет тут, впрочем, у него какой-то родственник, но не прописан, мы уж решили ему внушение сделать. Непорядок.

Горбачев ходит по чайным

Квартира Дмитриева была на четвертом этаже. Васильев остановился на пятом и стал ждать. Выходили люди из квартир пятого этажа, смотрели подозрительно. Васильев делал вид, будто он ждет кого-то, кто живет на шестом этаже. Когда выходили люди из квартир шестого этажа, Васильев как будто поджидал задержавшегося спутника с пятого этажа.

Только часа через полтора стукнула дверь квартиры Дмитриева. Васильев наклонился над перилами. Вышел немолодой человек с двумя кошелками, тщательно закрытыми сверху газетами. Васильев выждал, пока он спустится, и отправился за ним.

Следователь уже выяснил у дворника, что фамилия Дмитриевского жильца Горбачев, что он брат жены Дмитриева, считается жителем Луги, но временами бывает в Петрограде.

Шел Горбачев не торопясь. Кошелки, видимо, были тяжелые, Горбачев нес их с трудом. Васильев обогнал его и обернулся. Горбачеву было под сорок. Может быть, и меньше. Его, вероятно, старили мешки под глазами, нездоровая пухлость лица, словом, очевидные признаки неумеренного пьянства.

Васильев перешел на другую сторону улицы и продолжал следить за Горбачевым. Тот остановился у чайной (в то время они были частными) и, ногой открыв дверь, вошел внутрь.

Вошел в чайную и Васильев. Он остановился у вывешенного на стене меню и стал, казалось, внимательно читать перечень нехитрых яств, предлагаемых посетителю хозяином чайной. М. М. Крутиков с почтением извещал, что в чайном его заведении можно получить, кроме чаю, ситный и колбасу, баранки и сыр производства сырного завода Федюхина. Нехитрый был набор, и стоило все недорого, но чайная, по-видимому, процветала. Бойкие молодцы в передниках, наверное ярославские, потому что спокон веку в петербургских трактирах и чайных служили половыми ярославские мужики, разносили на расписных подносах фаянсовые чайники парами — один поменьше для заварки, другой побольше для кипятка, получали медные копейки и долго кланялись и благодарили. Почти ни на одном столе не увидел Васильев ни чайной колбасы, ни федюхинского сыра, ни даже баранок. К чаю посетители брали полфунта ситничка и бесплатно солили его или мазали горчицей.

Горбачев прямо прошел к буфетной стойке, за которой стоял, очевидно, сам Крутиков, полный высокий человек с толстыми выпяченными губами. Крутиков чуть заметно кивнул, а Горбачев вынул из кошелки что-то завернутое в газету, так что почти и не угадывалась форма бутылки.

Потом Горбачев наклонился над стойкой, и Крутиков отсчитал ему сколько-то денег. Сколько — Васильев не видел.

Горбачев вышел из чайной, пройдя мимо Васильева, все еще изучавшего украшенное виньетками меню, и не обратил на него внимания. Следом за ним вышел и Васильев. Еще через два квартала помещалась чайная Ивана Дубинина. И туда вошел Горбачев, и там пошептался с хозяином, и там оставил за стойкой нечто завернутое в газету, и там получил деньги.

Дальше следить уже не имело смысла. Все было и так ясно. В то время государство не выпускало водку. Водка была запрещена к продаже. В государственных магазинах можно было купить только вино. Самогонование наказывалось строго, и все-таки спекулянтам удавалось гнать самогон. Они продавали его на рынках из-под полы и в чайных, наливая в чайники вместо чая. Итак, зять Дмитриева, Горбачев, живя в отдельной квартире, гнал самогон и снабжал им чайные. Не на чайной колбасе и федюхинском сыре наживались владельцы чайных, а на самогоне.

Решив, что никаких оснований тревожиться Горбачеву он не дал, стало быть, Горбачев никуда не убежит, поехал Васильев в угрозыск. Начальник с недоверчивым лицом выслушал его рассказ.

— Ну что ж, Ваня, — сказал он, — ты, конечно, проделал большую работу. Надо же, семьдесят восемь человек обойти! Но по совести говоря, не вижу я, чтобы виновность Горбачева была доказана. Может быть, ему этот самогон привезли из деревни, он его и распродал. Придешь с обыском, а у него ничего нет. Покуда рано предпринимать решительные шаги.

Выслушав начальника, Васильев загрустил.

Значит, начальник считает, что данных недостаточно не только для ареста, но даже для обыска. Что ж, придется еще последить, и если окажется, что Горбачев продает самогон каждый день, ордер на обыск, наверное, дадут. Не могли же ему в самом деле привезти из деревни бочку самогона. А во время обыска должно проясниться что-нибудь и по поводу убийства...

Все это отлично, продолжал размышлять Васильев, но текущие дела запущены. Начальство того и гляди начнет ругать. А послать некого. Все заняты. Если сам не последишь — уйдет Горбачев. Вернутся Дмитриевы из отпуска, он и уедет к себе. Тогда ищи свищи.

В это время к Васильеву подошли три человека, о которых надо сказать особо.

Это были три друга, три рабочих парня с завода имени Карла Маркса, что на Выборгской стороне. Все трое выросли в Нейшлотском переулке, гоняли мячи в одних и тех же дворах, кончили одну и ту же школу первой ступени, что по нашим сегодняшним меркам равняется примерно четырем-пяти первым классам. Все трое пошли на один и тот же завод и, проработав несколько лет, загорелись благородной мечтой стать в ряды борцов с преступностью, которая в годы нэпа была в молодой Советской республике еще очень сильна.

Государству тогда не хватало своих, прошедших советскую школу следователей и прокуроров. Их приходилось готовить по ускоренной программе. В свое время и Васильева подготовили



Рисунки Ю. МАКАРОВА

таким образом — за полгода. Теперь программа была годичная, но и этого, конечно, было мало.

Итак, трое друзей поступили на юридические курсы.

В годовую программу их обучения входило три месяца практики в угрозыске. Практиканты появились в бригаде Васильева месяц тому назад. Обучать их специально у работников бригады времени не было. Их просто загрузили поручениями, посылали на оперативные задания, тыкали всюду, где не хватало людей. В конечном счете это был, вероятно, хотя и суровый, но не такой уж плохой способ обучения. Все трое стали потом умелыми серьезными работниками.

А в те дни, о которых мы рассказываем, ребята — фамилии их были Семкин, Петушков и Калиберда — отличались храбростью, не всегда благоразумной, восторженностью, горячностью и азартом, с которыми они брались выполнить каждое поручение и которые часто вели к ошибкам. Опытные работники, а Васильев, несмотря на молодость, уже причислялся к ним, ругали их в хвост и в гриву, часто грозились отчислить, редко и сдержанно похваляли, а в общем относились к ним хорошо. Больно уж эти ребята были увлечены работой.

Увлечены-то они были, увлечены, но вместе с тем и несколько разочарованы. Все они читали и о Шерлоке Холмсе и о Нате Пинкертоне, и им казалось, что у этих придуманных детективов работа была гораздо интереснее и опаснее. А молодым советским сыщикам почему-то попадались дела все обыкновенные, не требовавшие ни особенного умения, ни особенной храбрости. Шерлок Холмс, например, сражался с профессором Мориерти. Вот был достойный противник! Сколько тут нужно было изобретательности и выдумки, сколько ума и смелости! А у нас что? Ну, какой-нибудь Ванька Чугун. Все это прозаично и скучно, а вот если бы им Мориерти, тогда бы они показали...

Васильев изложил ребятам подробно все обстоятельства дела. По совести говоря, улики, конечно, было мало. Задержать Горбачева как самогонщика они могли. Но вдруг действительно окажется, что просто привезли ему друзья из деревни несколько бутылок, он их распродал и самогон уже выпит!

С другой стороны, конечно, фамилии Чиков и Дмитриев на клочках газеты, в которые был завернут труп, наводят на подозрения. Ну, а что, если, например, Дмитриев, который получал газеты, прочтя, просто выбрасывал их в мусорный ящик, а оттуда их и взял никому не ведомый убийца? Во всяком случае, сами по себе эти две надписи на газетах вряд ли убедили бы суд в том, что это Горбачев убил Козлова. Интуиция, правда, подсказывала следователю, что Горбачев если не сам убийца, то как-то связан с преступлением. Такие интуитивные выводы питались тем впечатлением, которое произвел на Васильева этот тип. Что-то было в нем темное, скользкое, что именно, Васильев пока не мог бы сказать, но опыт, пусть пока небольшой, подсказывал, что расследование нужно довести до конца.

Однако ордер на обыск сейчас получить не удастся. Васильев упрям, но начальник, пожалуй, еще упрямее. И вот Васильев предложил трем друзьям последить несколько дней за Горбачевым. Все им объяснив, дав адрес и описав Горбачева, усло-

визались, что каждый день практиканты будут ему докладывать о результатах слежки, Васильев ушел.

Практиканты остались одни.

— А что, если... — сказал Калиберда и замолчал.

— Что ты хотел сказать! — подчеркнуто равнодушно спросил Семкин.

— Ребята, — сказал Петушков, — это же против всех законов и правил. С нас же голову снимут.

Мысли у них шли настолько одинаково, что они без слов понимали друг друга. К сожалению, мысли эти были, можно сказать, еретические, крамольные мысли. А что, если — думали все трое — пока Горбачев ходит по чайным и продает самогон, вскрыть отмычками его квартиру и обыскать! Конечно, это незаконно, но ведь они практиканты. Опыта у них нет. Что с них возьмешь! Отругают, и все. Зато Васильев будет знать, есть ли что-нибудь в квартире такое, что даст основания для ареста Горбачева. Все было, кажется, ясно, но все-таки практиканты сомневались. А вдруг ничего подозрительного у Горбачева они не обнаружат, да еще Горбачев застанет их у себя в квартире! Ведь это какой скандал! Какой повод Горбачеву жаловаться! Конечно, преступление их не так уж велико, и под суд их, наверное, не отдадут, но выгнать из угрозыска выгонят. А эти молодые люди свое дело любили и потерять навсегда возможность им заниматься... Об этом они даже и думать не хотели.

— Между прочим, — задумчиво сказал Калиберда, — помнится мне, что Шерлок Холмс тоже незаконно проникал в частные квартиры. Какая-то была у него история с шантажистом. Им с Ватсоном даже пришлось удирать во все лопатки. А ведь не испугались.

Эта идея воспламенила всех троих. Наконец-то в их жизни должно было произойти нечто, что находится в соответствии с лучшими традициями детективных рассказов. Они увлеклись и начали обсуждать план операции. Впрочем, скоро Петушкову пришла в голову расхолаживающая мысль.

— Знаете, ребята, — сказал он, — мы тут одного не учли. Шерлок Холмс был частный сыщик, он сам за себя и отвечал. А мы представляем государство. В случае чего позор не на нас. Позор на угрозыск.

Это соображение подействовало на всех. У всех потух блеск в глазах, все заколебались.

— С другой стороны, — протянул Семкин, — чутье у сыщика...

Мысль, которую он хотел высказать, показалась ему самому неубедительной, и он замолчал, не договорив. Молчали все трое. Долгую паузу решительно прервал Калиберда.

— Знаете что, ребята, — сказал он, — вы зря паникуете. Сделаем так: обыскивать буду я. Я один войду в квартиру. Один из вас будет сторожить у ворот. Если увидит, что Горбачев идет, предупредит меня. Второй будет следить за Горбачевым. Может быть, попытается его задержать. Разговорится, может быть, предложит даже выпить. Словом, незаконно действую только я. Значит, если дело не удастся, я один и отвечаю. Меня из угрозыска и выгонят.

У будущих соучастников прояснились лица. Впрочем, товари-

щи они были хорошие и забеспокоились: как же так Калиберда рискует, ведь это не шутка.

— Ребята, — сказал умоляюще Калиберда, — честное слово, мы идем на благородное дело. Мы разоблачим убийцу. А если даже убил не он и мы в этом убедимся, разве не важно очистить невинного от подозрения! Если версия Васильева не подтвердится, он будет разрабатывать другую, вместо того чтобы впустую следить за Горбачевым. В конце концов кто-то должен был брать от Дмитриева газеты. Раз Васильев будет уверен, что убивал не Горбачев, он быстрее разыщет настоящего убийцу.

Товарищи тяжело вздохнули, но согласились, что помочь Васильеву даже против его воли необходимо.

Вечером Калиберда попросил у знакомого оперативника комплект отмычек, сказал, что хочет усвоить технику дела. Вернуть отмычки он не успел, а вечером, придя домой, обнаружил, что замок на входной двери собственной его квартиры открывается плохо и целый вечер возился с замком. Замок не стал работать лучше, зато Калиберда научился обращаться с отмычками, как квалифицированный грабитель.

На следующее утро все трое стояли на тротуаре напротив подворотни дома, где жил Горбачев, и оживленно болтали. Каждому прохожему было ясно, что встретились на улице три старых товарища, давно не виделись, у каждого полно новостей, стоят и болтают.

Судьба любит шутить шутки. Вчера Горбачев вышел из дому в девять часов утра. Сегодня было уже половина одиннадцатого, а он все не появлялся. Сколько же можно стоять на улице без всякого дела! Окна квартиры Горбачева выходили, как вчера сказал Васильев, во двор, значит, сейчас он не мог видеть оживленно разговаривающих друзей. Но, может быть, упрямом, испугавшись, что кто-то расспрашивает про непрописанного жильца, сказал ему, чтобы он выметался, если не хочет иметь неприятностей. Тот и насторожился.

— Если до одиннадцати не выйдет, — сказал Петушков, улыбаясь для прохожих, — то кто-нибудь из нас постучит к нему и спросит Дмитриева. Горбачев ведь один в квартире. Открыть может только он.

Все трое посмотрели на часы. У всех троих часы показывали без пяти одиннадцать. Вот уже без трех. Без двух. Без одной. Ровно в одиннадцать из подворотни вышел Горбачев.

Тайный обыск

Все три практиканта узнали его сразу. Больно характерный был у него вид. Семкин весело пожал руки друзьям и пошел по другой стороне улицы, незаметно поглядывая на Горбачева. Двое остальных перешли улицу и тоже простились. Петушков остался стоять на тротуаре, поглядывая на часы, как будто ждал человека на заранее условленное свидание. Калиберда вошел в дом и поднялся на четвертый этаж.

Дойдя до двери квартиры, он наклонился к замочной скважине и втянул носом воздух. Как будто тянуло закваской, но, может быть, это он сам себя убедил, вот и чудится.

Сверху послышались шаги. Кто-то слускался по лестнице. Калиберда выпрямился и стоял с таким видом, будто только что постучал и ждет, пока ему откроют. Спускаясь по лестнице, он внимательно оглядел Калиберду, но, не найдя ничего подозрительного, спокойно пошел дальше. Калиберда вынул из кармана отмычку и, уверенно действуя ими, быстро открыл дверь. Он вошел в квартиру. Здесь запах закваски был очень силен. Сомнений не было. Самогон гнали здесь же. Калиберда заложил ручку двери стоявшей в углу палкой и осторожно, стараясь ничего не коснуться и не сдвинуть с места, прошел в комнату. Здесь было жарко и душно. Окна закрыты наглухо. Никелированная кровать застлана газетами, чтобы не пылилась. Зеркало на туалетном столике, какие-то флакончики и коробочки — все было покрыто пылью. Очевидно, это была спальня супругов Дмитриевых, пустовавшая со дня их отъезда. Во второй комнате, где стоял обеденный стол и диван с высокой спинкой, тоже все было покрыто пылью.

Калиберда внимательно посмотрел на пол. Ему вдруг пришло в голову, что он может на пыли оставить следы. Но слой пыли был недостаточно густ, следов не было видно. Аккуратно закрыв дверь, Калиберда перешел в третью комнату. Здесь уже запах закваски прямо ударял в нос. Конечно, здесь и жил Горбачев. У стены стояли две большие дубовые бочки с закваской. Сомневаться не приходилось. Но все-таки Калиберда сунул палец в бочку и облизал его. Закваска была хорошая. Видно, Горбачев гнал самогон не из какой-нибудь дряни, а из самого чистого сахара.

Из мебели в комнате была только узкая железная кровать, покрытая солдатским одеялом, и деревянная табуретка. Окна здесь были закрыты для того, маверное, чтобы запах не выходил наружу. Здесь было много мух, и жужжали они весело и торжествующе. Напились, видно, закваски и веселились теперь пьяные.

Калиберда прошел на кухню и увидел дощатый стол и еще две дубовые бочки, тоже с закваской. А на плите, ничем не прикрытый, высился, сверкающий медью, змеевик. Калиберде довелось уже несколько раз накрывать с поличным самогонщиков, и технику производства он знал хорошо. Он отметил про себя, что дело у Горбачева поставлено солидно, такой змеевик недешево стоит сделать.

С самогоном все было ясно, но не для этого же только забирался тайком Калиберда в чужую квартиру. В углу были сложены дрова, а рядом лежала куча бумаги. Здесь были и целые газеты и клочки газет. Калиберда наклонился. Да, на многих газетах и на клочках можно было разобрать надписи: «Чиков» и «Дмитриев». Подозрение Васильева, бесспорно, подтверждается, и все-таки это еще не доказательство. Горбачев может все начисто отрицать. Ну, самогон гнал — тут уж не оспорится. А в убийстве не виноват. Может, случайно в домоуправлении кто-нибудь взял газету, может быть, и нарочно подсунул обрывки с фамилиями, чтобы навести подозрение на невинного.

Вот если бы удалось найти обрывок, который точно бы под-
ходил к обрывку, найденному в корзине с трупом, тут бы Гор-
бачев завертелся. Ведь был же обрывок с тремя буквами —
«Дми». Вот если бы попался обрывок, на котором было бы на-
писано «триев».

Но стоит ли ворошить эти газеты! Вдруг Горбачев заметит,
что тут кто-то возился! Потом, если даже Калиберда найдет
обрывок, на котором написано «триев», какая это улика,
если обыск без протокола, без понятий. И все-таки очень хоте-
лось порыться в этой куче. Калиберда раздумывал, когда
в дверь отчетливо постучали четыре раза. Юноша вздрогнул.
Его предупреждали, что Горбачев возвращается. Быстро, на цы-
почках, он выбежал в переднюю, оставив дверь в кухне полу-
закрытой, точно так, как было раньше, эти подробности он тща-
тельно запомнил. Вынув из ручки двери палку, он поставил ее
на место в угол, так, как она стояла. Товарищ встретил его на
лестничной площадке. «Скорее!» — прошептал он. Калиберда
вынул отмычки из кармана и быстро запер дверь. Внизу
на лестнице уже слышались шаги Горбачева. Он поднимался,
к счастью, медленно. На площадке третьего этажа ему встретил-
ись два молодых человека. Они оживленно разговаривали
о рыбной ловле. Горбачев пропустил их мимо себя, и никаких
подозрений они у него не вызвали.

И вот три товарища, три соучастника по самовольному обыс-
ку, сидят в кабинете Васильева и докладывают. Сначала часть
«законная»: Горбачев опять носил продавать самогон, на обрат-
ном пути остановился у пивного парька выпить пива. Потом
вернулся домой и больше из дому не выходил.

— Ребята, — говорит Васильев, — последние еще и завтра.
Все-таки могли ему привезти два-три бидона, он их и продает.
Войдем в квартиру, а там все чистенько и никаких аппаратов.
Нам ошибаться нельзя. Представьте себе, сделаем обыск и ни-
чего не найдем. Он поймет, что его подозревают, и удерет,
да так, что его я не сыщешь.

— Делайте обыск, — говорит Калиберда, глядя в сторону. —
Не ошибетесь. Насчет убийства я, правду говоря, не знаю,
а самогон гонит. И аппарат есть, и в бочках полным-полно.

Васильев обвел глазами трех практикантов, сидевших с ней-
тральными, ничего не выражавшими лицами, и все понял.

— В квартиру проникли! — спросил он тихим от ярости го-
лосом.

Сыщики молчали.

Дальше было все, что обычно бывает в таких случаях.

Васильев кричал, стучал кулаками, грозил, что сейчас же до-
ложит начальству и преступников выгонят из угрозыска; ребята
наялись, просили простить и не сообщать начальству, потом Ва-
сильев остыл, и стало ему практикантов жалко. Он понимал,
что злого умысла у них не было, что заставило их пойти на этот,
в сущности, безобразный поступок усердие в неудачном соче-
тании с юношеским легкомыслием.

В сущности говоря, самовольство молодых сыщиков принесло
скорей вред, чем пользу. Что они узнали! Что Горбачев гонит
самогон! Васильев был уверен в этом и раньше. Понаблюдав

за Горбачевым несколько дней, можно было это бесспорно установить, получить ордер на обыск, арестовать Горбачева за самогоноварение и спокойно вести следствие дальше.

Теперь положение изменилось. Совершенно неизвестно, какие следы оставил Калиберда в квартире. Горбачев насторожен. Достаточно мелочи, чтобы он скрылся. Значит, обыск надо делать немедленно. Даст ли начальник ордер? Можно, конечно, сослаться на данные Калиберды, но начальник строг. Выгонит мальчишек, да еще письмо на курсы напишет. А мальчишек жалкс. Лица у них бледные, растерянные и глаза умоляющие.

Васильев махнул рукой, буркнул «подождите» и пошел к начальнику. Нет, он, конечно, ему ничего не сказал. Просто немного приукрасил факты, сказал, что Горбачев заметно нервничает и может скрыться, так что лучше с обыском прийти сегодня же.

— А основания какие! — спросил начальник.

— Из замочной скважины закваской несет.

Начальник работал в угрозыске не первый день, понял, что, кроме запаха, еще есть какие-то основания, но не стал углубляться.

— Ладно, — сказал он, — оформляйте ордер. Я подпишу. И возьмите с собой сотрудника-эксперта. Пусть ученый человек хорошенько осмотрит.

На обыск поехали Васильев, эксперт, Калиберда и фотограф. Подъехав к дому, пригласили трех понятых вместо двух полагающихся — управдома, дворника и человека из квартиры на пятом этаже, того самого, который спускался по лестнице, когда Калиберда собирался вскрывать квартиру. Человек этот оказался архитектором.

Он все время всматривался в лицо Калиберды. Никак не мог вспомнить, откуда это лицо ему знакомо.

Тихо поднялись на площадку четвертого этажа. Постучали громко, как может стучать почтальон или случайный посетитель. Молча ждали. Горбачев, видно, успел изрядно попробовать собственной продукции.

— Кто там! — спросил он сердито и невнятно, прежде чем отпереть.

— Телеграмма, — сказал Васильев.

— Какая, к черту, телеграмма! — недовольно пробурчал Горбачев, но дверь все-таки отпер.

Вошли, предъявили ордер.

Увидя милицейскую форму, Горбачев очень испугался. Он заморгал глазами, и у него задрожали и руки и губы. Мог он бояться и того, что раскроется убийство, но мог испугаться просто потому, что самогоноварение уж безусловно откроется.

Плита топилась вовсю. Васильев открыл дверцу и заглянул в топку. Вероятно, печку растапливали газетами, но теперь они уже сгорели. Трещали дрова, бурлила закваска, пар шел по змеевику.

Сразу же занесли в протокол четыре бочки, и змеевик, и тот факт, что в момент обыска Горбачев как раз гнал самогон. Змеевик на плите и бочки сфотографировали. Теперь начиналось самое трудное. Эксперт привез с собой три альбома, в кото-

рых на листках картона были наклеены аккуратно разглаженные обрывки газет, найденные в корзине. Так же аккуратно разгладили один за другим все обрывки газет, сваленные в углу. Поворачивали и так и этак, прикладывали друг к другу.

Горбачев держал себя странно. Сначала он очень разволновался, как мы уже говорили. Потом, когда прошли по квартире, увидели бочки с закваской и самогонный аппарат на плите, он ахал и всплескивал руками, как будто сам их впервые видел и даже не подозревал, что они у него есть. А когда потом занялись хлопотливым и непонятным для понятых делом: разбирали обрывки газет и пытались их сложить, он как будто потерял всякий интерес к обыску. Сидел на табуретке, прислонившись спиной к стене, тупо смотрел на происходящее и только иногда вздыхал и говорил совершенно не к месту: «О господи, чудны дела твои».

Из понятых больше всех был заинтересован происходящим архитектор. С любопытством осмотрел он аппарат, покачал головой и похвалил конструкцию, а затем внимательно следил, как складывают газетные обрывки. Наконец не удержался, спросил:

— А это для чего?

— А это для того, — сказал Васильев громко — так, что Горбачев должен был слышать, — чтобы найти газету, обрывок которой мы обнаружили в корзине с трупом некоего Козлова.

Горбачев не обратил на эти слова никакого внимания, даже, кажется, не расслышал. Странно, конечно. Но с другой стороны, можно было это объяснить и тем, что он пьян, и тем, что он очень ошарашен такой неожиданной катастрофой со своим годным производством.

Зато архитектор разволновался. Он тоже начал перебирать клочки и складывать их. И как ни странно, именно ему повезло. Сложив два клочка, он вдруг вскрикнул.

Все повернулись к нему. Архитектор не мог даже говорить от волнения, он только пальцем показывал. Васильев наклонился. Было совершенно отчетливо видно, что обрывки точно подходят друг к другу. Мало того, на том, который был вклеен в альбом, было написано «Дми», а на том, который лежал на кухне, было написано «триев».

Следствие заходит в тупик

К тому времени, когда Васильев вызвал Горбачева на допрос, тот успел протрезветь, собраться с духом и внимательно продумать свои показания. Отрицать факт самогонварения было совершенно бессмысленно. В этом он признался не споря, но когда зашла речь об убийстве, то он долго не мог понять, в чем дело, потом заинтересовался, кто такой Козлов, и сказал, что в первый раз слышит о нем и ни к какому убийству никогда отношения не имел.

Чаще всего первый допрос — это только взаимное прощупывание следователя и подсудимого. Васильев смотрел на Горбачева, задавая случайные вопросы, имевшие часто только косвенное отношение к делу, и думал.

Кое-какие козыри у него, у Васильева, есть. Во-первых, газеты. Улика сильная, хотя все-таки косвенная.

Во-вторых, сотрудник научно-технического отделения во время обыска соскреб ножичком грязь между досками пола на кухне. Лабораторный анализ установил, что в грязи этой есть следы крови. В наше время анализ установил бы и то, чья кровь это — человека или животного и даже совпадает ли она по группе с кровью жертвы. В те годы, однако, такого точного анализа делать еще не умели. Ясно, что кровь, но может быть курицы или поросенка.

Грязь из щели эксперт брал на глазах у Горбачева, но Васильев не знал, обратил ли Горбачев на это внимание и понял ли, для чего грязь берут.

Горбачев сидел на допросах спокойно, подобострастно наклонялся, как будто старался лучше расслышать, о чем его спрашивает следователь, и отвечал тихим и кротким голосом, глядя на следователя заискивающими глазами. Тюремное заключение пошло Горбачеву на пользу. Лицо, прежде опухшее от постоянного пьянства, пришло в нормальное состояние, и выглядел теперь самогонщик вполне даже благообразно. Самым сложным для Васильева в этом деле был тот факт, что следствие не обнаружило пока никаких указаний, где и когда могли познакомиться Горбачев и его жертва. Козлов — петроградец, проработавший три года на севере. Горбачев житель Луги. В Петроград наезжал не часто, а жил здесь у Дмитриевых всего только полтора месяца. Привез с собой змеезик, бочки купил на базаре, якобы солить капусту и огурцы. Приехал со специальной целью гнать самогон и продавать. Лужская милиция сообщала, что хотя Горбачев и пьяница, но в преступлениях никаких замешан не был.

Могло быть, конечно, все это случайно. Козлов любил выпить и столкнулся с Горбачевым где-нибудь в чайной, распил, допустим, с ним бутылочку, так и познакомился. Однако, по словам жены, Козлов, правда, хоть и употреблял спиртное, но пил больше дома.

Итак, с одной стороны, слишком многое говорило против Горбачева. С другой стороны, слишком мало было улики, чтобы передавать дело в суд. Кто-то, а люди, работающие по борьбе с уголовной преступностью, знают хорошо, как часто случайно совпадают косвенные улики и как долго приходится разбираться в этих поразительных совпадениях, чтобы не осудить совершенно невинного человека.

Васильев организовал якобы случайную встречу вдовы Козлова с Горбачевым — она столкнулась с арестованным в коридоре лицом к лицу. Нет, Горбачева она не знала. И фамилии такой никогда не слышала, и лицо было ей совершенно неизвестное.

Внимательно рассчитал следователь и то время, что прошло с момента отъезда убитого из учреждения до сдачи корзины в камеру хранения. Деньги Козлов получил в начале четвертого — это подтверждали и кассир и главный бухгалтер, который подписывал кассовый ордер. Корзина была сдана в камеру хранения в половине седьмого вечера.



Возвращаясь из учреждения домой, Козлов должен был проехать на трамвае, или на извозчике, или пройти пешком неподалеку от дома, где жил Горбачев. Неподалеку, но все-таки не мимо дома. Квартала за два от дома Горбачева проходила большая улица, по которой шли трамваи и по которой пролегал самый короткий путь Козлова к дому. Васильев с часами в руке проехал на трамвае от учреждения, где Козлов получал деньги, до остановки, ближайшей к дому Горбачева. Получалось 25 минут. На извозчике до того же места вышло 30 минут. Пешком он проделал всю эту дорогу за 42 минуты. Значит, в четыре, в начале пятого Козлов мог оказаться поблизости от дома Горбачева. В это время кончается рабочий день, и петроградские улицы полны народа. Трудно представить, что в такой час Горбачев напал на проходящего мимо незнакомого человека, убил его и притащил труп к себе в квартиру.

Васильев пошел к ближайшему рынку, нанял ломового извозчика, доехал до Горбачева, заставил его простоять пятнадцать минут. Примерно столько нужно было времени, чтобы Горбачеву вдвоем с извозчиком подняться на четвертый этаж, отпереть квартиру, взять вдвоем тяжелую корзину, снести ее вниз и погрузить на телегу. Потом проехал на ломовике до вокзала. Получилось полтора часа.

Значит, всего полчаса было у Горбачева, чтобы встретить незнакомого человека, убить его, уложить в корзину и хоть немного убрать квартиру. Все-таки извозчик должен же был в квартиру войти. Опять тупик.

Получалась совершенная ерунда. Казалось, все было хорошо. И клочки газеты сошлись, и человек Горбачев темный, по-видимому, способный на преступление, но Васильев отчетливо представлял себе, как адвокат в судебном заседании с вежливой улыбкой рассчитает по минутам время и как он, Васильев, будет краснеть.

Снова и снова ходил Васильев по улице, где в квартире Дмитриевых, непрописанный, проживал Горбачев. Снова прошел от ближайшей чайной до дома Горбачева. Можно было допустить, что Козлов в чайную зашел, решив, вопреки принятому обычаю, все-таки выпить. Самогон продается, конечно, из-под полы. Значит, нужно какое-то время на то, чтобы поговорить с половым, внушить ему доверие, убедить подать в фаянсовом чайнике самогон вместо кипятка. Нужно какое-то время, чтобы познакомиться с другим выпивающим, чтобы оба они начали доверять друг другу и признались, что пьют вместо позволенного чая строго запрещенный самогон. Нужно, чтобы Козлов разоткровенничался и рассказал о том, что у него с собой большие деньги, и чтобы Горбачев уговорил Козлова пойти к нему домой. Час — не меньше — нужен был на это, и пятнадцать минут занимала только дорога от чайной до дома.

Снова ходил Васильев по улице. Все он надеялся, что какой-нибудь случай, неожиданный разговор, какая-нибудь мелочь, которой он не замечал прежде, откроет ему, наконец, в чем секрет.

Что же находится поблизости от горбачевского дома? Три магазина. Государственный магазин продовольственных товаров с винным отделом. Но Васильев не заметил, чтобы посетители пили вино прямо здесь, в магазине. Это было, кстати, строго запрещено.

Маленькая частная колбасная — это вообще не место, где заводятся случайные знакомства.

Третьим магазином была булочная. В ней покупатели не задерживались, и завести знакомство было там почти невозможно.

Васильев взялся за ломовых извозчиков. В то время это был единственный вид грузового транспорта, которым пользовалось население, и ломовиков, как их тогда называли в Петрограде, было несколько сот. Васильев прошел по всем так называемым извозничьим дворам. Извозничий двор обыкновенно принадлежал частнику. Там были конюшни, извозчикам отпускались овес и сено, а во дворах стояли телеги. Часто извозчики здесь же и ночевали. У хозяина можно было получить кипяток и выпить чаю. По вечерам, а ломовые извозчики кончают работать рано,

потому что вечером редко перевозят тяжелые вещи, ходил Васильев по извозничьим дворам и опрашивал ломовиков одного за другим, не перевозил ли тот тяжелую корзину такого числа на Московский вокзал. Ломовики были народ, любящий позубоскалить. Чтобы прекратить неуместные шутки, Васильеву почти каждый раз приходилось показывать удостоверение.

К удостоверению ломовики относились серьезно и старались припомнить, везли ли они такую корзину или не везли. Подумав, порасспросив, какая была корзина, да откуда везли, да какого числа, каждый говорил, что с ним такого случая не было. Но всех ломовиков не опросишь.

В общем опрос ломовиков кончился, так сказать, вничью. Он не дал той решающей улики, того решающего свидетеля, на которого рассчитывал Васильев, но он и не убедил следователя в невиновности Горбачева.

И снова начался допрос.

— Но чем же вы все-таки объясняете, что обрывок газеты, найденный в корзине с трупом, совершенно совмещается с обрывком газеты, который найден у вас на кухне!

Горбачев смотрел подобострастно, ищущими глазами.

— Так ведь знаете, гражданин следователь, — отвечал он, — я ведь вам уже говорил. В кошелку наставишь бутылочки с самогонном и бутылочки завернешь. А между бутылочками нарвешь кусков газеты, сомнешь да и насынешь. Это ведь и для того, чтобы бутылки друг о друга не стукались, нужно и для того, чтобы когда в кошелке одна или две бутылки останутся, чтобы они, знаете ли, не ложились, а то самогончик может пролиться. А самогончик, знаете, обходится дорого, его зря проливать жалко. Ну, а там в какой-нибудь чайной газетки и оставишь. На обратном пути я частенько в магазин заходил купить чего поесть, сосисочек или яицек, так мне кошелка нужна была пустая. А куда дальше газеты эти девались — это я, уж извините, не знаю.

Еще одно обстоятельство говорило в пользу Горбачева. Деньги — пятьсот рублей, которые Козлов получил новыми червонцами, как показал кассир, найдены не были. В квартире у Горбачева оказалось всего восемнадцать рублей семьдесят копеек рублями и трешками.

Короче говоря, следствие окончательно зашло в тупик.

Поиски в Луге

Хорошо еще, что Горбачев попался на варке самогона, а то бы пришлось либо передавать дело в суд с очень шаткими доказательствами, либо вообще Горбачева выпустить. Начальство торопило Васильева. Уже второй месяц сидел Горбачев в тюрьме, а дело об убийстве вперед не двигалось.

Еще раз проехал Васильев от учреждения, где Козлов получил деньги, до дома, где он жил. Оказалось, что как раз возле продовольственного магазина, неподалеку от дома Горбачева, надо было пересаживаться с трамвая на трамвай. Значит, вполне вероятно, что Козлов, получив деньги, зашел в магазин. Возле

его дома больших магазинов не было. И конечно, было ему удобнее все купить именно здесь, при пересадке. Но как же все-таки он потом оказался у Горбачева? Может быть, подошел Горбачев к незнакомому человеку и предложил ему продать самогон! Козлов соблазнился и пошел! Мало вероятно. Во-первых, Горбачев знал, что продажа самогона строго карается. Во-вторых, у него налажены связи с хозяевами чайных, и, значит, сбывать свою продукцию было ему нетрудно. Чего ж тогда будет он открываться первому встречному! Наконец, третье: одет был Козлов скромно, и предположить, что у него при себе большие деньги, никак было невозможно. Не будет же он в самом деле объяснять каждому, что вот, мол, получил подъемные, так что, пожалуйста, грабьте. Наконец, если все-таки и завязалось знакомство на почве самогона, так отчего же убитый был совершенно трезв! Судебно-медицинский эксперт, производивший вскрытие, утверждал это уверенно.

Где-то в этом деле был какой-то крючок, какая-то подробность, о которой Васильев не подумал. Что-то самое главное прошло мимо него. Что же это могло быть?

Васильев съездил в Лугу, обыскал дом Горбачева. Никаких прямых улик того, что Горбачев варил самогон в Луге, не оказалось. И все-таки Васильев был уверен, что именно самогон был всегда основным источником дохода Горбачева. Хозяйство его оказалось запущенным до последней степени. Урожай на земле выросал бедный. Видно было, что по-настоящему никто к земле рук не приложил. Если землю пахали и засевали, то для того только, чтобы можно было сказать: живем, мол, на трудовые доходы.

Мать Горбачева была старушка ядовитая, с хитрыми маленькими глазками. Судя по тому, как спокойно встретила она Васильева, чувствовалось, что обыск ее ничуть не удивил. Она, конечно же, знала, чем занимается сын, и понимала, что в его деле, хотя и выгодном, отдельные неудачи неизбежны. Еще одно было странно в доме Горбачева. Очень уж много было бочек. Васильев насчитал шесть совершенно целых, да еще две худые лежали в сарае. В одной из целых бочек солились огурцы, в другой капуста, а четыре были пустые. Васильеву показалось, что он почувствовал сохранившийся еще в них легкий запах закваски. Видно, и здесь производство было поставлено в широких размерах. Впрочем, доказывать, что Горбачев и в Луге гнал самогон, не имело особенного смысла.

В сущности говоря, все упиралось в два вопроса. Первый — были ли Горбачев и Козлов знакомы раньше! Второй — где деньги, взятые у Козлова!

Васильев зашел на лужскую почту. Ему пришла в голову нелепая мысль. Может быть, Горбачев был так неосторожен, что взял да и перевел матери по почте козловские пятьсот рублей. Тогда легко проверить по книге переводов. Он тщательно просмотрел эту книгу, хотя заведующая почтой сразу сказала ему, что такого перевода не было. Шутка ли — пятьсот рублей! В Лугу такой перевод приходит раз в три года.

Но все-таки книга была просмотрена, и перевода не оказа-

лось. Васильев испытал некоторое разочарование. Как это ни странно, но самые хитрые преступления раскрываются иногда из-за какой-либо крупной небрежности преступника. Однако Горбачев, если все же он преступник, был очень осторожен.

До обратного поезда в Петроград оставалось еще два часа. Васильев зашел к начальнику милиции, попросил ~~аргументы~~ взглянуть за старухой Горбачевой, и начальник милиции пошел проводить Васильева на вокзал. В буфете заказали они по кружке пива и сели поговорить. Начальник милиции сокрушался, что просмотрели они самогонщика. Горбачев человек темный. Это здесь все знают. И семья темная. Когда Горбачев в армии был, мама его такую спекуляцию развела, что ужас! Если бы тогда законы были против спекуляции, так ей бы несдобровать. Ее счастье, что было царское время.

— Он в империалистическую воевал! — спросил Васильев.

— Воевал! — усмехнулся начальник милиции. — Тоже мне вояка! Сидел где-то писарем, в ста километрах от ближайшей пушки. Видно, там, на военной службе, нагребастал порядочно. Приехал с деньгами, корову они купили, пороса завели, но семья такая, что им ничто впрок не идет. Как пошло пьянство, так и поросенка, не откормив, продали, а потом и корову. Ну, какие там у него доходы, этого я не знаю. Но пьет он по-прежнему. На троицу приезжал, по всем канавам валялся.

— На троицу! — спросил Васильев. — А в этом году когда троица была!

— Восемнадцатого июня троица.

— Постой, постой, — Васильев весь даже напрягся. — Знаешь, я до вечера где-нибудь отсижусь в уголке незаметно, а вечером пойдем второй обыск сделаем у матери Горбачева. Почти наверное у нее деньги. Кстати, если она раньше и ждала обыска, дочка-то ей, наверное, написала, что сын арестован, и запрягала деньги так, что их не найти, то уж сейчас она обыска, наверное, не ждет!

Вечером начали второй обыск. На этот раз они перерыли все. Простучали стены, внимательно осмотрели сарай, в хлеву обследовали каждый метр. Согнали кур с насестов, обыскали весь курятник и нашли свежесыпанную яму в земляном полу. Принесли лопаты. Стали копать. Выкопали яму больше метра глубиной. Дальше пошла уже жесткая слежавшаяся земля. Тут у Васильева мелькнула мысль. Закопала старушка деньги в землю потому, что ждала обыска, а когда обыск кончился, выкопала и отнесла в дом. В земле мало ли что! Деньги и погнить могут и отсыреть.

Снова пошли в дом. Прощупали матрацы, подушки. Полезли на чердак. Здесь все покрывала ровная серая пыль. И только на крышке старого окованного железом сундука пыли не было. Открыли сундук. Перебрали тщательно, осматривая каждую вещь, целую кучу барахла. Пыль клубами носилась в воздухе. Все непрерывно чихали. Старушка уже почти не скрывала ненависти к милиционерам. Докопались до дна сундука. Здесь лежала маленькая шкатулочка, резная, с замочком.

— Где ключ! — строго спросил Васильев у старухи.



— А кто его знает, давно потерялся.

— Неси топор, — сказал Васильев одному из милиционеров. — Будем ломать шкатулку.

— Зачем вещь ломать, — сказала старушка, — на тебе ключи, если ты такой дошлый.

Васильев всунул крошечный ключ в скважину. Ключ легко повернулся. Очевидно, замок смазывали. Дрожаящими руками Васильев открыл шкатулку. Сверху лежала газета. Васильев даже на секунду помедлил вынуть ее. Он ясно понимал, что это тяжелое, изматывающее следствие сейчас кончится беспорной уликой. Вот он поднимет эту газету, и под ней окажется пятьдесят белых бумажек достоинством в десять рублей каждая.

Все оказалось так и не так. Действительно, в шкатулке были деньги. И даже не пятьсот, а почти шестьсот рублей. Но только были они в самых разных купюрах — по пять, три и по одному рублю. Одна только потрепанная десяточка оказалась на самом дне. Она поистерлась от тысячи рук, через которые прошла. А кассир говорил следователю, что он выдал Козлову подъемные новенькими червонцами.

Деньги были — улики не было.

Может быть, деньги эти были нажиты на самогоне. А может быть, Горбачев оказался хитрее, чем можно было думать. Походил по магазинам, по чайным, потолкался по базару и по одной десяточке, покупая какую-нибудь ерунду, разменял все червонцы на купюры помельче. Их уже никто не опознает, и никакой уликой они служить не могут. Так или иначе один след оборвался. Оставался, правда, второй.

Всю дорогу до Петрограда Васильев продолжал думать. И жена Козлова и его знакомые (а Васильев опросил многих из них) говорили в один голос, что никогда от Козлова фамилии Горбачев не слышали. Припоминая всех их, Васильев подумал, что это знакомые недавние. Жена его была моложе его и замужем была не очень давно. Но ведь могло же быть, что Козлов и Горбачев приятельствовало когда-то и где-то, еще до того, как появились у Козлова его нынешние знакомые и нынешняя жена. На север Козлов ездил тоже без жены. Может быть, встречались они на севере. Может быть, еще раньше когда-нибудь. Вероятно, это была не близкая дружба, а просто

приятельские отношения. Представим себе, рассуждал Васильев, что вдруг, зайдя в магазин купить чего-нибудь по случаю покупки, видит Козлов старого своего приятеля. Такие встречи всегда воспринимаются радостно. Может быть, они были даже и мало знакомы, но тут вдруг такая неожиданность.

— Горбачев! — говорит Козлов. — Ты как здесь!

— Козлов! Вот не ждал! Жив еще!

— А я, знаешь, опять на север еду, — говорит Козлов. — Сейчас подъемные получил — пятьсот рублей. Ну, по такому случаю надо нам с тобой отметить встречу. — И потом шепотом: — Ты не знаешь, где тут достать бутылочку? Я бы заплатил.

Тут-то Горбачеву и приходит мысль о преступлении. Наверняка никто не знает, что Козлов зашел именно в этот магазин. Никто не может знать и того, что в этот же магазин зашел Горбачев. Да, наконец, никто даже не знает, что они когда-то были знакомы. Дело как будто верное и безопасное.

— Знаешь что, — говорит он, — я тут недалеко живу. В квартире я один, и выпить у меня найдется. Давай возьмем селедочки, колбаски и пойдем.

Тогда сразу перестраивается весь расчет времени. Десяти минут достаточно, чтобы встретиться, поговорить, купить закуску и отправиться к Горбачеву. Козлов оказался трезвым! Ну что ж. Тут противоречия нет. Может быть, Горбачев просто попросил, скажем, приятеля селедку вычистить, подошел сзади и ударил топором по голове. Был в квартире Горбачева топор или не было! Ну, это потом. Прежде всего надо проследить прошлое обоих. Где-то, когда-то должны они были быть знакомы.

Прямо с вокзала поехал Васильев в учреждение, которое отправляло Козлова на север.

Перелистали все архивы, просмотрели все списки. Тщательно проверили все фотографии. Нет, от этого учреждения Горбачев никогда на север не ездил.

Это не подтверждало версию Васильева, но и не опровергло ее. Горбачев мог быть на севере случайно. Мог поехать по каким-нибудь своим спекулятивным делам.

Так или иначе Васильеву было ясно теперь, что делать. Надо



проследить жизненный путь обоих — и Козлова и Горбачева — с самого детства.

Если точно узнать, где и когда они встречались, то уверения Горбачева в том, что о Козлове он слышит первый раз, будут сами по себе уликой.

Биографические подробности

Васильев сидит над личным делом Козлова. Отец фельдшер. Родился и детство прожил в Калуге. Окончил городское училище. Работал в конторе кондитерской фабрики «Эйнем». Подождите, при чем тут Калуга! Ага, «Эйнем» — это в Петербурге. Понятно. В 1914 году призван в армию. Так. 1914—1917 — служба в армии. Интендантское управление — Псков. С 1918 года живет в Петрограде. Потом три года — север. В 1922 году женится. Не за что зацепиться. А у Горбачева, наверное, вообще личного дела нет. Этот ведь нигде не работал.

Снова три часа дряхлится Васильев в поезде. Снова едет в Лугу. Совет с начальником милиции. Сверстники Горбачева хорошо его помнят. К счастью, среди сверстников есть один милиционер, который даже учился с Горбачевым в церковно-приходской школе.

Родился примерно в 85—86-м годах. Окончил церковноприходскую. Отец у него сильно пил, а мамаша торговала на базаре птицей. Он ей помогал. Потом в трактир поступил. Был тут трактир Бузукова. К посетителям его не выпускали, а так, знаете, на побегушках. Все надеялся в полове выбиться. В армию его не взяли. То ли мама доктору сунула, то ли и верно у него с легкими не в порядке. И в полове хозяин не допускал. Жуликоват Горбачев был до невозможности. Палец ему в рот не клади. Мама у него была «деловая». Днем на базаре птицей торгует, а вечером все какие-то дела делает. То бежит куда-то, то к ней какие-то люди приходят. Жадность у нее была большая к наживе.

За какие-то штуки Горбачева выгнали из трактира. Стал он дома околачиваться. Днем матери на базаре поможет, вечером с поручениями бегаёт. И представьте себе, между прочим, не пил. Ну так, может быть, на пасху рюмочку выпьет, а больше ни-ни. Потом война началась. Тут уж то ли взятка нужна была большая, а денег не было, то ли на здоровье стали смотреть снисходительно, но только его все-таки взяли.

Почти в каждом следствии бывают периоды застоя. Фактов мало, они противоречат друг другу, версии противоречивы, и каждую версию одна часть фактов поддерживает, зато другая часть опровергает. Следствие — это долгий и трудный процесс. И все-таки в этом долгом процессе наступает момент, когда вдруг сквозь десятки противоречивых вариантов проглядывает истина. Иногда основанием к этому неожиданному блеску истины оказывается мелочь, третьестепенный факт, мало-значительное наблюдение. Еще эта истина не подтверждена подробным анализом фактов, еще, в сущности, трудно объяснить, что же такого нового произошло, как вдруг проявилась картина. Но следователь, если у него есть опыт, уже чувствует ра-

дость открытия и уверенность в том, что правда будет обнаружена.

Так и теперь, хотя, в сущности, еще ничего не было ясно, Васильев почувствовал, что проступает в темноте то звено, которого ему не хватало. Внешне он по-прежнему держался спокойно, даже равнодушно, но сердце у него заколотилось.

— Значит, пошел Горбачев на фронт! — спросил он.

— Что вы, — сказал милиционер, рассказывающий о Горбачеве. — Разве такой попадет на фронт! Откупилась, наверное. А вернее, я так думаю, еще проще устроились. После начала войны объявили ведь сухой закон: Ну, понятно, очень выросло самогонное дело. Тогда с этим было просто: В полицию дашь десятку и гони себе. Точно, конечно, я не скажу, но слух такой шел, что горбачевская мама сильно этим делом увлеклась. Так вот, я думаю, кому следует дали по ведру самогона, вот вам и назначение. И начальство довольно. Шутка ли — иметь при себе такого человека! Ему только мигнешь, а он тебе сразу бутылочку. Это же не служба, а радость.

Васильев был совершенно точно уверен в том, что он сейчас услышит. Он понимал — звено найдено, звено у него в руках.

— Что же, он здесь в Луге, что ли, служил! — спросил он спокойно, точно зная ответ.

— Нет, не в Луге, — сказал милиционер, — но тут недалеко, километров сто тридцать. В Пскове.

— И где же именно в Пскове! — еще более равнодушно спросил Васильев. И опять услышал именно то, что ждал.

— В интендантском управлении каком-то, — сказал милиционер. — Я точно не знаю. У него я не бывал, а мама его каждую неделю туда ездила. И все с узлами. Идет на станцию, сгибается, а вернется к вечеру, так легко идет. Мама у него очень хитрая. Да и он хитрый. А уж жадный! У них и гости никогда не бывают. На угощение денег жалко.

На следующее утро Васильев вызвал Горбачева на допрос. Этот допрос, как хорошо понимал Васильев, должен был стать решающим. Горбачев пришел, как всегда, спокойный, как будто примирившийся даже с несчастной своей судьбой, смотрящий на следователя кроткими, терпеливыми глазами. Васильев тоже держал себя спокойно и обыкновенно. Горбачев не должен был предвидеть, что сегодняшний допрос чем-нибудь отличается от предыдущего. Он за это время, видимо, успокоился. Много за самогон не дадут. Что же касается убийства, то, видимо, Горбачев твердо решил: либо следствие вообще замнет это дело, либо если даже и передаст в суд, так суд оправдает его за недоказанностью.

У Васильева был вид усталый. Он и в самом деле устал. Поезд из Луги пришел в первом часу ночи, в шесть утра он был уже на работе — продумывал предстоящий допрос.

Допрос Васильев начал так, как мог бы начать разговор со случайно встретившимся знакомым. Он спросил Горбачева, носит ли ему передачи. С кем Горбачев сидит в камере? Не позволяет ли себе начальство нарушения прав заключенного?

Горбачев сказал, что нет, спасибо, все, мол, хорошо, всем, мол, доволен. Васильев ему обещал, что теперь сидеть не долго придется, скоро, наверное, суд.

Горбачев отметил эти слова, он понял их так, что следовательно от обвинения в убийстве отказывается. Васильев перевел разговор на семью Горбачева.

— Ну, давайте все-таки еще раз повторим все факты. Значит, вы Козлова никогда не знали и даже не слыхали о нем!

— Нет, — сказал Горбачев. — Был у нас в Луге один Козлов, продавец в кооперативе работал. Но тот пожилой человек. А такого, как вы описываете Козлова, я не знал.

Дальше пошел разговор о прошлом Горбачева. Васильев вел себя так, как будто впервые слышал, что работал он в трактире мальчиком на побегушках, что хозяин его в половые не допускал. Получалось по его рассказам так, что вроде он, Горбачев, принадлежал к угнетенному пролетариату, и если он пошел на то, чтобы гнать самогон, так потому только, что незнателен, образование имеет небольшое, политическим развитием не занимался.

Спросил Васильев, где теперь хозяин трактира. Оказалось, что он теперь содержит в Луге чайную, но Горбачев с ним не видится, потому что понял, как тот его эксплуатировал. Так постепенно, благодушно болтая, подошли они ко времени империалистической войны.

— Вы ведь говорили, кажется, что в Пскове служили! — спросил Васильев между прочим.

— В Пскове, — согласился Горбачев, забыв, что об этом и разговору-то раньше не было.

— В интендантском управлении!

— Да, в интендантском управлении.

— Конвойные части! — спросил Васильев.

— Совершенно точно, — сказал Горбачев.

— И много вас было, — спросил Васильев, — конвойных!

— Да нет, — сказал Горбачев, — чего там охранять. Интенданты ведь больше пили. Денег у них было полно. Они прямо, не стесняясь, взятки брали. А нас и было там, рядовых, восемь человек. Так полагалось, ну и мы им нужны были, знаете, чтобы услужить, если придется, с поручением сбежать. Знаете ли, разложение офицерства в царской армии было ужасное.

— Да, — горестно покачал головой Васильев. — Офицерство ужасно разлагалось.

И вдруг произошла крутая перемена. Только что перед Горбачевым был безразличный собеседник, который для того, чтобы провести полагающийся последний допрос, вел неторопливую беседу о далеком прошлом, давно прожитом и давно забытом. Даже и сидел Васильев как-то неофициально, не то чтобы развалиясь, но облокотившись на спинку, с видом самым, так сказать, приватным. И вдруг в какую-то долю секунды он выпрямился, напрягся, и лицо его резко изменилось.

— Зачем же вы лжете, — резко сказал он, — что никогда не знали Козлова! всю войну прослужили вместе, всего было вас восемь человек, а познакомиться времени не нашлось!

Горбачев вздрогнул и инстинктивно тоже выпрямился.

— Как это познакомиться! — спросил он.

— Да очень просто, в этом же интендантском управлении

таким же, как и вы, конвойным был и убитый вами Козлов. Вот в его личном деле об этом подробно рассказывается.

— Не понимаю, — сказал Горбачев. Он как-то сразу смик, он понял: ему только казалось, что дело кончено, что идет уже последний допрос. Именно сейчас и начинается самое страшное, и следователь знает все то, что он — Горбачев — пытался скрыть. Он понял, что разговор только начинается. И действительно, разговор только начинался.

— Я вам расскажу, — сказал Васильев, — как происходило убийство. Ошибки могут быть в мелочах, и все-таки вы поправляйте, если заметите неточность.

— Хорошо, — сказал Горбачев, не замечая, что это единственное слово звучало уже как признание.

— Семнадцатого июня, — сказал Васильев, — вы утром, как обычно, разносили по чайным самогон и на обратном пути решили зайти в продовольственный магазин номер тридцать семь, чтобы купить себе чего-нибудь поесть. Было это около половины четвертого. Я говорю, около, минут на пятнадцать в ту или другую сторону может быть ошибка. В магазине вы встретили бывшего своего сослуживца Козлова. Вы с ним не видели друг друга много лет. Встреча была радостная. Радовался главным образом он, потому что только что подписал договор о работе и получил пятьсот рублей подъемных.

Об этом он сразу вам рассказал и предложил, так как деньги у него есть, пойти куда-нибудь выпить. Вы вспомнили, что живете сейчас один в квартире, что у вас дома сколько угодно самогону, а пятьсот рублей вас соблазнили. Вы пригласили его к себе. Купив закуску, вы пошли в квартиру, он сел на кухне за стол, и вы попросили его вычистить селедку.

— Нарезать колбасу, — сказал Горбачев.

— Хорошо, нарезать колбасу, а сами сказали, что нальете самогон. Самогону у вас не было, вы весь продали до встречи с Козловым, или, может быть, вам просто хотелось скорее покончить с этим делом. Он наклонился над столом, а вы взяли топор и ударили его топором по темени. Вы убили его с одного удара!

— С одного, — сказал Горбачев.

— Топор вы бросили, вероятно, вечером в реку или в канал.

— В Фонтанку, — сказал Горбачев.

— Потом вы уложили труп в корзину, вероятно, вы в этой корзине доставляли бочки, чтобы не вызывать подозрения.

— Доставлял, — сказал Горбачев.

— Вы тщательно убрали и вымыли кухню, пошли на рынок, сговорились с ломовиком, вынесли с ним вместе корзину и отвезли на Московский вокзал. Есть какие-нибудь неточности?

Все пришлось, заносить в протокол, заполнять страницу за страницей, дать прочесть Горбачеву, словом, дела было еще много. Но Горбачев уже не сопротивлялся, ни о чем не спорил и молча все подписал. Это был уже совершенно раздавленный человек.



ЗОЛОТО

Утром шестого апреля 1940 года помощник германского торгового атташе в Осло Бертольд Бенеке получил от спешно прибывшего из Берлина господина устную инструкцию. Всего несколько слов: «Встречайте нас во вторник, девятого...»

Бенеке подошел к широкому окну особняка торговой миссии и выглянул вниз, на Клингенберггатен. Уютная, словно только что умытая улица жила обычной размеренной жизнью норвежской столицы.

Человек у окна удовлетворенно потер руки. Долгожданное сообщение означало, что карьера помощника торгового атташе осталось длиться всего-навсего три дня. А потом... Потом он станет тем, кем, собственно говоря, и был все эти годы: майором Бенеке, руководителем отделения военной разведки — абвера — «ВО-Норвеген», одним из лучших резидентов адмирала Канариса.

Он не знал в точности, но, конечно, догадывался о событиях в Берлине, предшествовавших приезду нарочного.

Во вторник, второго апреля рейхсканцлер Адольф Гитлер вызвал к себе в им-



**ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
РАСКАЗ
ПО МАТЕРИАЛАМ
ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЫ**



перскую канцелярию всю верхушку германского генералитета. И особо — руководителя оперативной группы «21» генерала Фалькенхорста и начальника его штаба полковника Бушенхагена. Заслушав несколько коротких докладов, Гитлер задумался на несколько минут и произнес отрывисто:

— Назначаю девятое апреля днем начала вторжения.

Так были predeterminedены пять самых черных лет в истории норвежского народа. ... — Алло! Алло! Слушаю! С кем я говорю?!

Андреас Лунд, директор банка в Лиллехаммере, крохотном городке в ста восьмидесяти километрах от Осло, не мог скрыть недоумения. В самом деле, чего ради он мог потребоваться в шесть часов утра самому господину Ригге, генеральному директору Национального банка Норвегии? Если бы дело происходило, скажем, первого апреля, еще можно было бы заподозрить в милой шутке кого-либо из столичных приятелей. Но сегодня уже девятое... Да и властный прерывистый голос не оставлял ни малейшего сомнения, что с ним действительно говорит сам Николас Ригге.

— Алло! Лунд? У вас все готово?

— Да... да... Все готово, — еще больше растерялся Лунд: видимо, генеральный директор интересуется монтажом нового секретного сейфа-хранилища. Но почему все-таки в такую рань?

— Хорошо, — удовлетворенно сказал Ригге на том конце линии. — Ждите грузовики во второй половине дня...

Теперь уже Лунд вовсе отказывался что-либо понимать.

— Какие грузовики?! Ради бога, скажите же, наконец, что там у вас стряслось?

Ответ был ошеломляющим:

— Ах да... Вы же еще ничего не знаете. — Ригге уже не кричал. Наоборот, голос его звучал еле слышно: — Война... Немцы вторглись в Норвегию. Через несколько часов они будут в Осло.

Лунд понял все. В том числе, почему ему нужно встречать грузовики.

Далеко в Осло звякнула трубка. Николас Ригге уже звонил по другим номерам. К половине седьмого служащие банка были оповещены и немедленно прибыли на работу. Все до одного. От рассыльного до заместителей Ригге.

Генеральному директору уже сравнялось шестьдесят. Высокий, крепко сколоченный, он был еще очень силен. Что ж, значит, сможет еще поработать за грузчика!

Он медленно обвел взглядом собравшихся. Если хоть один из них — этот? Или этот? А может быть, тот — предатель? Нет, не может быть. Он уверен в этих людях, как в самом себе. Одни из них умны, другие — не очень. У одного отличный характер, у другого — сварливый. Один примерный семьянин, другой повеса. У одного собственное состояние, другой живет на скромное жалованье служащего. Но предателей среди них нет.

Им, этим людям, предстояло совершить почти невозможное — спасти от гитлеровцев весь золотой запас страны.

Тысячу пятьсот сорок два ящика и бочонка! Пятьдесят пять тонн золота в слитках и монетах!

Золото, о котором был великолепно осведомлен помощник торгового атташе, и, следовательно, штаб генерала Фалькенхорста, и, следовательно, Имперский банк, уже, без сомнения, постановивший взять норвежское золото «под охрану германского государства».

...Который раз Ригге снова прикинул в уме: чтобы погрузить и вывезти одновременно (о повторных рейсах не могло быть и речи) все золото, требуется минимум пятьдесят грузовиков. Во дворе же банка стояло всего-навсего пять. Но — не терять же время! Все служащие во главе с директором принялись за погрузку.

В половине восьмого Ригге позвонил в министерство транспорта. Ответ был неутешителен. В связи со срочной эвакуацией государственных учреждений министерство может предоставить в распоряжение Национального банка только... один грузовик! Остальное предлагается реквизировать (если удастся) своими силами.

Ригге выругался. Но делать было нечего. Он послал несколько самых красноречивых своих служащих на улицы останавливать все проходящие мимо грузовые машины. Это была нелегкая задача: не так уж много незанятых машин можно было отыскать в Осло за несколько часов до вступления в город первых фашистских отрядов. Все же им удалось

подогнать к банку еще четыре автомобиля: один из них в мирное время, то есть всего несколько часов назад, предназначался для уборки улиц, другой — для доставки молока. В это время Ригге получил очередное сообщение из министерства обороны: гитлеровцы высадились на берегу фьорда южнее города...

К половине девятого первые пять грузовиков были погружены. Их следовало отправлять немедленно: собирать большую колонну было слишком опасно, это неминуемо привлекло бы внимание. На каждую машину Ригге посадил, кроме шофера, всего лишь по одному вооруженному сопровождающему, иначе некому было бы грузить оставшееся золото. Урча моторами, машины тронулись к северной автостраде на Лиллехаммер.

Когда они скрылись за углом, Ригге сообщили, что уже захвачены все важнейшие порты Норвегии: Нарвик, Берген, Тронхейм. Самая тревожная телефонограмма поступила в десять часов: парашютисты захватили аэродром Форнебу...

Это всего в нескольких километрах от банка...

Посланные на улицы служащие действительно оказались красноречивыми: им удалось ценой неимоверных усилий и начисто сорванных голосов достать еще двадцать четыре машины, в том числе обитый черным бархатом похоронный фургон. Во дворе банка кипела адова работа. Мокрые от пота, шатаясь от усталости, люди непрерывной вереницей выносили из подвалов и грузили на машины небольшие, но тяжеленные ящики. Желтый металл словно сопротивлялся нечеловеческим усилиям, не желая менять спокойные стены подземных кладовых на дсругу в неизвестность, устланную опасностями и тревогами.

Когда в половине двенадцатого первые немецкие мотоциклисты въехали на площадь перед ратушей, последний грузовик с норвежским золотом уже уходил на север.

Запыхавший гитлеровский офицер, вбежавший в пустой холл Национального банка, опоздал на какие-нибудь несколько сот метров. Ему так и не пришлось доложить в штабе генерала Фалькенхорста о выполнении порученного ему задания.

Норвежские патриоты вовсе не собирались верить в достояние своей страны под охрану Германского государства. Они предпочли позаботиться о нем сами.

К наступлению темноты все машины золотого каравана благополучно достигли Лиллехаммера. Тысяча пятьсот сорок два ящика и бочонка нашли временное убежище в секретном сейфе-хранилище Андреаса Лунда.

Убежище в Лиллехаммере было надежным, но — до поры до времени. Не больше, чем на неделю. Столько времени, по грустному прогнозу военных, могла продержаться мужественная, но маленькая норвежская армия против превосходящих сил вермахта.

Военные власти сделали все, что могли: они реквизировали на железнодорожной станции состав из двенадцати эшелонов и предоставили его в распоряжение банка. Ге-

нерал предупредил директора Ригге, что золото должно быть погружено в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое апреля и отправлено на север еще до рассвета. Иначе он не ручался за безопасность груза.

Чтобы скрыть операцию от чужих взоров, генерал ввел в городе осадное положение, крестьянам, мобилизованным для погрузки, было предложено захватить из дому лопаты, якобы для рытья окопов.

К назначенному времени все было готово. Три мощных армейских грузовика, предназначенных для перевозки золота на станцию, стояли возле подъезда банка с потушенными фарами.

Андреас Лунд, единственный человек, знающий секретную комбинацию замка бронированного хранилища, подошел к тяжелой двери. Ригге и генерал с нетерпением следили за его манипуляциями... Прошло несколько минут напряженного молчания, и Лунд с побледневшим лицом бессильно опустил дрожащие руки...

— Что с вами? — с недоумением спросил Ригге.

— Я... Я не могу вспомнить комбинацию замка... — чуть слышно выговорил Лунд.

Это была катастрофа. Не полагаясь ни на кого и ни на что, Андреас Лунд **не записал** комбинацию цифр, известную во всей Норвегии только ему одному. И забыл... Забыл в решающую минуту: нервы не выдержали колоссального напряжения этих тяжелых дней.

— Лунд! Ради бога вспомните! — кричал Ригге.

Лунд лихорадочно крутил диски замка, в отчаянии перебирал первые приходящие на ум комбинации цифр. На лбу его выступила холодная испарина. Ригге с ужасом понял, что еще минута — и директор лиллекхаммерского банка упадет в обморок...

— Лунд! Умоляю вас! — закричал он. — Вспомните! Ради ваших детей!

И произошло чудо: Лунд вспомнил! Ну конечно же... Ради детей. Ведь он составил секретную комбинацию шифра замка, сложив даты рождения двух своих детей!

Через несколько секунд тяжелые стальные двери неслышно распахнулись. А к четырем часам утра все пятьдесят пять тонн металла были погружены в вагон и взяли курс на Ондальснес — маленький северный порт, еще не оккупированный гитлеровцами.

Теперь металл сопровождала надежная охрана: тридцать вооруженных до зубов отборных солдат. Командовали ими, должно быть, самые подходящие для столь ответственного задания офицеры норвежской армии: полковник Фредерик Хаслунд и майор Бьерн Сунде. Оба — убежденные антифашисты, ветераны гражданской войны в Испании.

Состав прибыл в Ондальснес двадцатого апреля без особых происшествий. Но момент этот совпал с появлением в порту трех английских крейсеров, что вызвало яростную бомбежку Ондальснеса фашистской авиацией. К счастью, бомбардировщики сосредоточили все свое внимание на районе порта и не обратили внимания на одинокий эшелон.

В минуту затишья полковник Хаслунд передал в свой штаб, остававшийся еще в Лиллехаммере, что эшелону не причинено ни малейшего ущерба. Диктовал эту телефонограмму, как, впрочем, и многие другие, не кто иной, как один из известнейших поэтов Норвегии и внук ее великого композитора, Нурдала Григ, которому суждено было сыграть видную роль в золотой эпопее.

Поэт, он занимался в эти тревожные дни, по его собственным словам, весьма прозаичными делами: охранял слитки и передавал недобрые вести. Это, к сожалению, соответствовало действительности: именно Григ в ночь на двадцать второе апреля первым узнал о том, что оккупанты в конце концов захватили Лиллехаммер.

Последняя полученная Григом инструкция штаба предписывала погрузить золото на крейсер «Галатею», который после высадки десанта в Норвегии должен был вернуться в Англию.

Погрузка была тяжелой: от первой и до последней минуты она проходила под разрывы бомб. Отважные грузчики с тяжелыми ящиками на плечах с трудом балансировали на зыбких мостках навстречу потоку сбегающих на берег английских солдат. Высадив десант, «Галатея» не могла больше ждать в этом пекле ни минуты. Она отчалила, когда норвежцы успели погрузить в ее трюм всего двести ящиков.

На руках Хаслунда и его команды оставалось теперь всего лишь... тысяча триста сорок два ящика! Как выразился Григ, они все еще были чуть больше богаты, чем им бы хотелось в сложившейся ситуации.

Григ был прав. Фашисты уже имели время, чтобы убедиться: кладовые банка в Лиллехаммере столь же пусты, что и в Осло. И они достаточно хорошо разбирались в географии, чтобы рассудить: дорога из Лиллехаммера ведет только в Ондальснес.

Оставаться здесь дальше было бессмысленно. После непродолжительного совещания трое командиров решили пробиваться на грузовиках в Мольде, порт, расположенный в ста километрах к северу от Ондальснеса. Железной дороги туда не было, оставалось только шоссе, следовательно — грузовики. Офицеры не без основания считали Мольде самым подходящим местом. Этот порт, где, кстати, нашел прибежище и король Хаакон с наследным принцем, пока еще удерживался английскими войсками.

Каким образом Нурдалю Григу удалось раздобыть двадцать шесть грузовиков, мы, по-видимому, никогда не узнаем. Сам он об этом так и не успел рассказать в свое время. Но тем не менее он их достал, а солдаты Хаслунда в ночь на двадцать седьмое набили их доверху.

И снова, растянувшись из предосторожности на несколько километров, золотой караван двинулся в путь. Опасения оказались не напрасными: несколько бомбардировщиков с черно-желтыми крестами на крыльях заметили колонну и

подвергли ее ожесточенной бомбардировке. Среди людей жертв не было, но четыре грузовика были разбиты. Спотыкаясь по изрытой воронками дороге, Григ и несколько солдат, проклиная все золотые прииски на свете, перетаскали металлы на оставшиеся и без того перегруженные машины.

На рассвете двадцать восьмого апреля сильно потрепанные автомобили достигли Мольде. Солдаты уже привычно перенесли ящики в один из пустующих складов. Комендант порта с гордостью сказал Хаслунду, что фашисты еще ни разу не бомбили Мольде.

— Это, конечно, упущение, — успокоил его хладнокровный полковник, — не волнуйтесь, они постараются его полностью возместить. И не позднее, чем сегодня днем.

Увы, долго ждать не пришлось. Шквал свинца, стали и огня обрушился на город и порт. К вечеру Мольде лежал в развалинах. То, что пощадили фугаски, теперь пожирало пламя. Но — удивительное везенье! — на склад, где находились люди Хаслунда и золото, упала одна-единственная бомба, да и та не разорвалась. Майор Сунде и еще несколько солдат немедленно разрядили ее, рискуя жизнью, потому что проделывали эту малоприятную операцию впервые в жизни.

К вечеру двадцать девятого апреля прибыло распоряжение: к двадцати двум часам подвести золото к главному пирсу. Отсюда его примет на борт английский крейсер «Глазго», эскортируемый двумя эсминцами. Кроме золота, «Глазго» заберет в Англию также и короля Хаакона с наследным принцем Улафом и министрами. Последнее, впрочем, уже не касалось Хаслунда, Сунде и Грига. Им хватало и собственных забот о золоте.

Когда солдаты погрузили к ночи металл на восемь рекувизированных Григом грузовиков, склад уже пылал: очередная партия бомб добралась и до него. Пламя охватило и пирс, огненной стеной преградив дорогу к спасительной громаде «Глазго». Пробриться к ней было невозможно...

Майор Сунде предложил единственный выход:

— Погрузим ящики на рыбацкие лодки и подплывем к кораблю с другого борта.

Через несколько минут Григ уже мобилизовал семь маленьких лодок. Король Хаакон со своей свитой, офицеры «Глазго» с борта крейсера с замиранием сердца следили, как крохотные скорлупки в кипящих от разрывов фугасок волнах пробиваются к кораблю. Но всем было ясно: как ни мужественны эти люди, они не смогут на своих суденышках переправить на борт «Глазго» весь груз. Даже если их не потопят в конце концов, операция займет слишком много времени.

Хаслунд нервничал тоже. И не без оснований. Он хорошо помнил, как поспешно ушла в море «Галатей», и понимал, что капитан английского крейсера также вряд ли станет рисковать своим кораблем ради национального богатства Норвегии. И он принял отчаянное решение. Но чтобы его осуществить, нужно было четыре храбреца.

Он подошел к шоферам, простым норвежским солдатам,

которым он не мог, в сущности, уже ничего приказать. Он и не стал приказывать.

— Ребята, — сказал полковник, — у нас осталось еще восемнадцать тонн. Это четыре грузовика. Нужно попытаться проскочить. Кто возьмется?

Вызвались все восемь. Облегченно вздохнув, Хаслунд отобрал из них четырех. Этим четверем предстояло проделать опасную и ювелирную по точности работу. Они должны были на полной скорости, чтобы не успели загореться бензобаки, прорваться вслепую через огненную завесу и тут же затормозить, как вкопанные. Доля секунды промедления — и машина слетит с пирса в море.

И четверо шоферов блестяще справились с делом, хотя и связанным с горой золота, но не сулившим им ни одного гроша. Они проскочили.

Они-то справились. Но — все пятьсот сорок шесть оставшихся ящиков так и остались лежать на пирсе... Очередная волна «хейнкелей» обрушилась на порт, и капитан «Глазго» дал приказ отчаливать.

Положение было отчаянным. К счастью, поэт и романтик Нурдаль Григ в решительные минуты умел быть человеком дела. Под непрекращающейся бомбежкой он разыскал где-то капитана «Дривы» — маленького парходика, курсировавшего между близрасположенными островками, и уговорил его перевезти груз дальше, на север. Солдаты успели погрузить на борт парходика водоизмещением всего в тридцать тонн, только двести шестьдесят ящиков, когда фашистские бомбы стали взрываться под самым его бортом. Капитан не мог больше ждать...

Хаслунд, Сунде, Григ и их люди, обессиленные от усталости, отправились через весь город обратно с оставшимися двумястами восьмьюдесятью семью ящиками. Склада, где они провели ночь накануне, уже не существовало. Они выбрались на какую-то полянку и завалились спать как убитые в кузовах грузовиков. Изголовьем им служили бочонки с драгоценным металлом.

Утром следующего дня они провели еще одно короткое совещание. Собственно говоря, обсуждать было нечего: требовалось только решить, что делать с золотом, если нагрянут враги. Основная часть золотого запаса страны была спасена, но и то, что оставалось в грузовиках, не должно было попасть в руки гитлеровцев. Избавиться от тяжелых бочонков не так-то просто: в море с пирса сбрасывать бессмысленно: достанут. Спрятать, но где?

Трудно гадать, до чего бы они договорились, если бы не... недобрая весть. Какой-то рыбак разыскал Хаслунда, чтобы сообщить: преследуемая вражеской подлодкой «Дрива» села на мель в пятидесяти километрах от Мольде, близ маленького рыбацкого порта Гжемнеса. Значит, половина их вчерашних героических усилий оказалась сизифовым трудом. Теперь надо было спасать «Дриву».

К полудню караван из четырех оставшихся машин прибыл в Гжемнес. Убедившись, что снять парходик с мели

собственными силами не удастся, Хаслунд отдал приказ перенести ящики с его борта обратно на берег. И снова — в который раз! — стал вопрос: что делать дальше?

Передвигаться по суше было попросту некуда.

Оставался один путь — морем.

С огромными трудностями Нурдалю Григу удалось раздобыть пять небольших моторных лодок. Кроме пятисот сорока семи ящиков, на них разместились и тридцать солдат: ни один из них не нарушил свой воинский долг. Внешне караван вполне походил (это было немаловажно из-за опасности нападения подлодок) на экспедицию за тунцом.

Третьего мая они достигли маленького островка Интиана и здесь узнали, что англо-французское наступление на Тронхейм потерпело поражение и почти все побережье уже захвачено гитлеровцами. Немецкие сторожевики патрулируют фьорды и придирчиво осматривают каждое судно.

Неужели все их титанические усилия оказались напрасными? От таких вестей у кого угодно могли опуститься руки. Майор Сунде предложил закопать золото на острове. Но Хаслунд воспротивился. И справедливо. На соседнем острове Фройа видели, что они остановились на Интиане. Узнай об этом фашисты — разыщут. Утопить металл на глубоком месте? Это в самом крайнем случае, когда терять уже будет нечего. А пока есть хоть один шанс, нужно бороться.

Решили: пробираться в Тромсё, там как будто еще нет немцев. Но на моторках туда не дойти. Нужны более мощные и быстроходные суда.

В деле добычи транспорта Нурдаль Григ успел получить высокую квалификацию. Он сумел уговорить владельцев двух быстроходных рыбацких судов «Альфхильда» и «Сольвага» рискнуть своим имуществом и жизнями: согласно новому порядку их в случае поимки ждал расстрел.

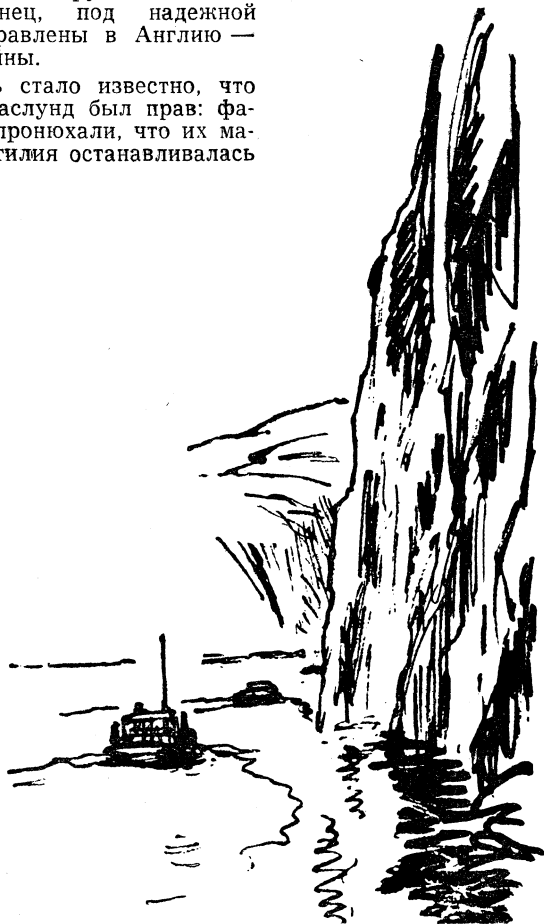
В ночь с пятого на шестое мая пятьсот сорок семь ящиков снова перетащили с бортов на борта. И снова — на север. Шли только по ночам, по три-четыре часа. Все понимали — этот переход последний. Больше чудес не будет. Или удача, или гибель.



На сей раз судьба была милостива к бесстрашным норвежцам. Только один раз за весь оставшийся путь Нурдаль Григ поднял сигнал тревоги: когда увидел всплывшую на поверхность подводную лодку. Но хозяин «Сольвага» быстро всех успокоил: его зоркий моряцкий глаз без особого труда узнал... обыкновенного кита...

Девятого мая, ровно через месяц после начала золотой эпопеи, «Альфхильд» и «Сольвага» вошли в порт Тромсё, занятый союзническими и норвежскими войсками. И пятьсот сорок семь ящиков вместе с прибывшим ранее грузом «Глазго» были, наконец, под надежной охраной отправлены в Англию — до конца войны.

Уже здесь стало известно, что полковник Хаслунд был прав: фашисты таки пронюхали, что их маленькая флотилия останавливалась



на Интиане. Они прочесали весь остров, но ничего не нашли. Тогда было дано указание авиации разыскать в море караван из пяти моторных лодок. Гитлеровские летчики были пунктуальными служаками: они обшарили все фьорды. Понапрасну. Правда, им попадались несколько раз два довольно крупных суденышка, но пилоты не обратили на них ни малейшего внимания: им было приказано искать пять моторок.

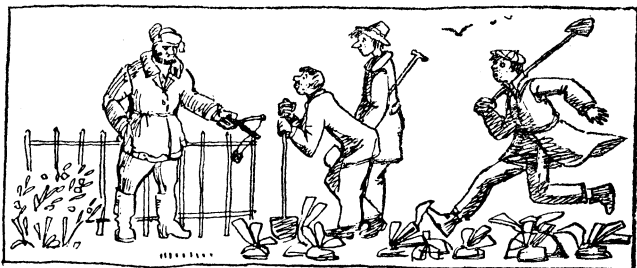
Вот и вся история о том, как горстка смелых и отважных людей спасла в 1940 году национальную казну своего гордого свободолюбивого народа. Пятьдесят пять тонн золота. Впрочем, чуть меньше: при разгрузке в Англии доски на одном ящичке разошлись и оттуда выпал маленький мешочек с семью золотыми монетами. Грузчик, который нес ящик, не удержался и сунул их в карман. В тот же вечер он пригласил нескольких приятелей в портовую пивную и стал угощать всех элем в неограниченном количестве. К изумлению хозяина, вместо привычных шиллингов, щедрый кутила высыпал на стол горсть золотых монет иностранной чеканки! Прямо из пивной загулявшему докеру пришлось отправиться в полицию.

Его адвокат на суде привел решающее обстоятельство в пользу своего ползащитного: золото все-таки попало не в руки нацистам, а в союзническую глотку!

И

Приключенческий рассказ
Николая Железникова «Искатели
клада» был впервые напечатан
в № 6 журнала «Всемирный
следопыт» в 1928 году.

Н. ЖЕЛЕЗНИКОВ



ИСКАТЕЛИ КЛАДА

I. НА РАСКОПКАХ

— Ничего нового с тех пор, как вы здесь были последний раз, — сказал археолог Иваницкий, со звоном отпирая большим ключом замысловатый старинный замок в железной калитке заброшенного завода.

Он пропустил рабкора Кондова вперед, запер калитку и осмотрел высокие кирпичные стены.

— Стена замечательная, никакой охраны не надо.

— Как же ничего нового, това-

рищ Иваницкий? — сказал Кондов. — Двор-то уже засыпали!

— Ну, это не в счет. Мы восстановили вход из подвала в подземеелье, а место раскопок, где водопроводчики наткнулись на подземный ход, засыпали. Однако с тех пор, как я в первый раз проник сюда и нашел в нише несколько старинных рукописей и кое-что из утвари, ничего больше не найдено.

Они долго спускались по узким каменным ступеням. Свет фонарей нерешительно раздвигал гу-

стю темноту. Эхо шагов гулко улетало вперед, дробно отражаясь от каменного свода и стен.

— Удивительно, что здесь сухо и дышать не тяжело! — сказал рабкор.

— Подземелье так устроено, голубчик, чтобы в нем можно было укрываться продолжительное время. Вероятно, старообрядцы около трехсот лет назад прятались здесь не по одному месяцу. Посмотрите, товарищ Кондов, вот на эту отдушину.

Иваницкий высоко поднял фонарь.

— Свежий воздух проходит из других отдушин, находящихся внизу, — продолжал он. — Я простукивал эти вентиляционные ходы. Они идут в стенах до самого конца коридора.

Пройдя около полукилометра, Иваницкий и Кондов остановились: подземный ход раздваивался. Они двинулись направо и через некоторое время уперлись в глухую стену.

— Мы должны теперь находиться под старообрядческим кладбищем или около него. Меня удивляет, что здесь нет выхода.

Археолог и рабкор пошли назад. Дойдя до разветвления коридора, они повернули в левый ход и вскоре снова уперлись в такую же глухую стену.

— Эх, и знатное же здесь можно сделать газоубежище! — сказал Кондов. — Так и просится написать статеечку! Зря вы, товарищ Иваницкий, таинственность разводите. Ведь всего два-три словечка и разрешили мне написать полгода назад: дескать, наткнулись на остатки постройки XVII века. А какие же тут остатки постройки? Целый метрополитен, можно сказать!

Иваницкий потеревил бородку:

— Наберитесь терпения, товарищ Кондов! У нас и на земле есть о чем писать. Вы же знаете, что мои соображения о необходимости

молчать, пока не закончены работы, были одобрены. Представьте себе, сколько всяких искателей приключений бросится сюда делать раскопки, если вы дадите статеечку! Разве тут, на окраине города, убережешь? Глядишь — найдут и расхитят ценные исторические вещи!

— Да когда же вы кончите копать?

— Денег, голубчик, мало! Следовало бы начать раскапывать сверху, с другого конца. Должен быть и другой выход.

Тем временем они вышли из подземелья.

— А все-таки приятно выбраться наружу! — сказал Кондов, жадно вдыхая свежий воздух.

Несколько человек шли по извилистой тропинке, вползавшей на холм между рощицей и кладбищем.

— Наши конторские с мыловаренного завода домой возвращаются. Даже в воскресные дни работают, — сказал Кондов.

Некоторое время археолог и рабкор стояли молча, поглощенные каждый своими мыслями.

— Да, много на поверхности земли еще старого хлама осталось, — сказал Кондов. — Однако рабкор не должен забывать и в глубь земли заглядывать. Знаете, товарищ Иваницкий, мне в последнее время что-то не везет вроде как с нашим подземельем. Да вот хотя бы про нашего кассира. Вон того, рукастого! Видите, на тропинке? Писал, что у него неладно должно быть. И сел я в лужу: доказательств нет, у него будто все в порядке. Вот так... Ну, до свидания.

Кондов ушел.

Иваницкий постоял еще несколько минут в раздумье. Его занимал вопрос: где находится продолжение подземелья и кто в это подземелье навевается? У него были свои основания для таких предположений...

II. ОБИТАТЕЛЬ ЗАБРОШЕННОГО ДОМА

Долговязый медлительный Стручков против обыкновения был очень оживлен. Вся его угловатая фигура, энергично сгибающаяся и разгибающаяся над грядками, выражала удовольствие.

Сегодня, наконец, ему удалось получить из коммунального разрешения остаться жить в пристройке обвального дома, признанного негодным для жилья. Маленькая бревенчатая пристройка состояла из одной комнаты и кухни, сообщавшейся дверью со старинным полуразрушенным каменным домом.

Взглянув на дом, Стручков даже запел от радости громким скрипучим голосом, чем немало удивил двух коз, привязанных на противоположном конце двора. Они дружно потрясли бородами, уставились на хозяина и, очевидно, решив, что вместе с ним составят недурное трио, громко заблеяли.

Стручков улыбнулся, аккуратно отрезал от вырванной репы ботву, осторожно прошел между грядками через большой, почти сплошь засаженный овощами двор и угостил коз. Ему приходилось быть экономным. Хотя он довольствовался малым и к тому же был вегетарианцем (из тех соображений, что мясо вредно и укорачивает жизнь человека), все же его хозяйство не давало бы ему возможности просуществовать, если бы не одна, несколько странная статья дохода: Стручков извлекал пользу из обвального дома, по мере надобности выламывая и продавая на дрова деревянные части...

В прозрачном воздухе, медленно извиваясь, плыли в сторону старообрядческого кладбища, находящегося поблизости, белые осенние паутины.

— Хорошо жить на свете, когда умеешь в малом видеть великое! — сказал он по своей привычке философствовать вслух, что нисколько не мешало ему жевать хрустевшую репу. — Ведь вот эти листочки! Какой художник в мире сможет дать столько радости, сколько они дают глазу? А потом картина — она картина и есть, а листочки сперва меня порадуют, потом опадут на землю. А я их — на чердак! Напасу корму козам на зиму. Хорошо!..

Он встал, зашел в дом, выломал здоровенную балку, поплевал на руки, вскинул ее на плечо и понес через кладбище в город.

На Пролетарской улице в бывшем купеческом особняке помещался рабочий клуб.

Стручков был большим почитателем драмкружка, игравшего в этом клубе. Молча вошел он во двор и свалил к ногам изумленного сторожа свою ношу.

— А это я — для актеров... Пускай погрелятся, когда им холодно будет, — сказал он, словно извиняясь.

Стручкову не могло и в голову прийти, что его подарок породит длинную цепь событий и со временем обрушит на его голову столько беспокойства...

III. ВЫШЕЛ ИЗ ОГНЯ...

Камин — это заграничная штука.

Камин — это костер в комнате. Прогорел огонь, и тепло вместе с ним вылетает в трубу. Хорошо, конечно, сидеть в комнате перед костром, вытянув ноги к огню, смотреть на языки пламени, тлеющие угли и вести беседу. Но толку от этого мало. По нашему климату костер не согреет комнату. Не может костер тягаться с печкой, долго берегущей тепло. Поэтому такая заграничная штука у нас не в обычае.

Осенним вечером в рабочем клубе, помещавшемся в особняке на Пролетарской улице, засиделись перед камином участники драмкружка. Конечно, не из-за дождя. Дождь не помеха, когда надо идти. А так, зажгли камин, ну и расходиться от огонька не хотелось.

Больше всех был доволен бывший актер, старичок Залетаев — руководитель кружка. Он блаженно жмурился, грелся и рассказывал, как игрывал в свое время. Рядом с ним сидел угрюмый плотный кассир Хлопов, исполнявший обычно роли злодеев. Он грел обезображенные ревматизмом руки и изредка подкидывал новое поленце в огонь.

Вдруг Залетаев вскрикнул. Одна начавшая обугливаться чурка распалась. В огне корежилась и тлела какая-то желтая бумажка. Не успели остальные сообразить, в чем дело, как Хлопов палкой выкатил из камина чурку, вытащил бумажку и загасил ее чьей-то шапкой.

Все сгрудились вокруг Хлопова, когда он развернул прожженный пергамент. В нескольких местах виднелись полустертые надписи вязью с разрисованными киноарьеро заставками. Посредине был начертан какой-то план. Справа от аккуратно выведенного четырехугольника была прожжена боль-

шая дыра. В том месте, где от четырехугольника вверх уходила прямая двойная линия, у самой дыры обрывалось слово «клад...».

Кто-то предложил сходить за археологом Иваницким. Тем временем все наперебой стали высказывать свои соображения. Сходились все на одном: этот план, несомненно, указывает, как отыскать клад. Раз план был спрятан в доме, где жил Стручков, очевидно, там же зарыт и клад...

IV. ...И НЫРНУЛ В ТЕМНОТУ

Иваницкому вручили находку и отступили его со всех сторон. Он присел к камину и несколько минут тщательно рассматривал пергамент.

— Да-да, — сказал он, наконец, — документ интересный, по видимому, семнадцатого века. Только напрасно вы толкуете о кладе. Здесь, несомненно, план, но это — план постройки. Видите, за буквой «д» кусочек другой буквы? Вероятно, это слово «кладка». Речь идет, очевидно, о новом способе кладки кирпичных стен.

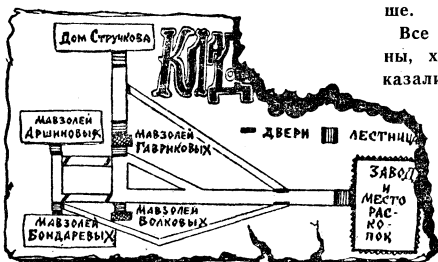
— А не точка ли то, что вы принимаете за начало буквы «к»? — спросил кто-то.

— Непохоже. Потом, видите, тут внизу вычерчены детали дверей с тяжелыми щеколдами? Здесь дана стена в разрезе. Несомненно, это план постройки, и ничего больше.

Все были несколько разочарованы, хотя доводы Иваницкого не казались очень убедительными.

План отдали ему. Стали расходиться.

— Вы, ребята, проводите бы Иваницкого, — сказал, лукаво улыбаясь, Залетаев. — Чего смеетесь? Проводите! А то слух о плане да о кладе за полчаса небось уже разнесся по городу. Как раз огра-



План подземных ходов с пометками археолога Иваницкого.



Рисунки В. КОВЫНЕВА

бят! Ночка больно темная.

Все вышли гурьбой, а Залетаев остался еще немного посидеть перед камином. Он плутовато улыбался.

Дойдя до переулка, где он жил, археолог протиснулся со спутниками и пошел один. Накрапывал дождик. Было так темно, как только может быть поздним осенним вечером в неосвещенном переулке. Иваницкий закурил папиросу. Внезапно в темноте кто-то рядом с ним хрустнул пальцами.

— Позвольте прикурить, — раздался густой голос.

Иваницкий сделал шаг, споткнулся и рухнул на тротуар. Где-то далеко чавкали в осенней грязи сапоги... Когда археолог, наконец, поднялся и зажег фонарик, то обнаружил, что портфель его вместе с планом исчез, нырнув во тьму вместе с обладателем густого голоса...

В тот же вечер по всему городу распространился слух, что в бревне, принесенном Стручковым, найден план, в котором указано, как отыскать богатый клад (по другой версии — четыре клада), спрятанный не то Стенькой Разиным, не то каким-то хазарским купцом.

О похищении плана рассказывали невероятные истории: тут участвовали и дюжина грабителей, и маски, и даже аэропланы...

V. КЛАД — НА СЛУЖБУ ВЕГЕТАРИАНЦУ!

На заре Стручков проснулся от какого-то странного шума. Перед распахнутой дверью стояло несколько человек с кирками и лопатами:

— Ты, тово, Стручков, позволь нам помочь тебе овощи убрать.

Стручков в недоумении таращил глаза. Странные посетители, вспоминая, очевидно, что молчание — знак согласия, ринулись к огороду — и давай выкапывать кормовую свеклу! Вид взлетающей на воздух свеклы мгновенно вернул Стручкову дар слова.

— Не здесь! — крикнул он азартным помощникам. — Не здесь!

Сила Струčkова, несмотря на его вегетарианство (а может быть, благодаря ему), была известна всему городу, и копатели замерли на месте.

— А где? — спросил один из них.

— Если вам врачи прописали физическую работу, копайте на здоровье. Только не надо портить огород. Кормовую свеклу убирать еще рано. Дуйте вот репу да вот здесь. И чур, уговор. Работать — работайте, а меня слушайтесь.

Убедившись, что его указания выполнены, Стручков пошел умыться и готовить чай.

Выйдя снова во двор, он заметил, что количество копателей удвоилось. Он сел на скамеечку, наблюдая за работавшими, и предался размышлениям.

«Что это столько народа огородам лечиться стало? Чудно! Не иначе как эпидемия какая-нибудь особенная. Или, может, в моем

огороде целебные свойства обнаружены? Вроде курорта? Эго нехорошо. Покою не будет...»

Тем временем накопанную репу и морковь сложили в доме. Ботву собрали кучкой у крыльца и вслед за этим, ни слова не говоря, принялись копать на грядках ямы.

— Стой! — крикнул опять Стручков. — Ямы для ботвиньи я не здесь копаю, а вон там, в углу.

— Какая еще ботвинья? — обиделся один из старателей.

— А чего же вы роете без толку? Известно, какие ямы! Чтобы в них ботвинью заквасить. Всю зиму ботва пролежит в ямах. И экономно и для коз полезно.

— Нужны нам твои советы! — проворчали старатели. — А впрочем, не все ли равно, где копать!

Добровольцы работали весь день. Заквасили ботву. Вычистили весь мусор из погреба, выломали из стен гнилые балки.

Спал Стручков тревожно. Несколько раз вставал. Почти никогда раньше не бывало, чтобы ночью к нему в огород лазили: боялись через кладбище ходить. А тут три раза пришлось ему за рогатку браться. Стручков в темноте видел, как кошка. Три раза картофелем из рогатки он метко насаживал синяков непрошеным гостям. У него такое правило было: днем ребят желудями обстреливать, а ночью вору покрупнее, на них и снаряд нужен крупный. Меньше, чем картофелиной, не прогонишь.

На следующее утро на огородный курорт к Стручкову пришли новые старатели. Первым делом Стручков заставил их починить погреб. Они с восторгом выпиливали балки, тщательно их обтесывали, обстругивали со всех сторон! Погреб починили, песку свежего насыпали и погрузили овощи.

Постепенно Стручков понял из скупых разговоров старателей, что они ищут клад. А к вечеру он знал уже всю историю с планом.



Помрачнел Стручков. Однако наблюдений за работами не прекращал. Сидел на скамеечке и, когда надо, командовал.

На огороде старатели возились до поздней осени. Все убрали и перекопали на славу. Стручков сам лишь навоз раскидал.

«Эх, знатный урожай на будущий год получится!» — думал он.

Первое время по ночам к нему часто лазили, и картофель перестал помогать. Стручков, как вегетарианец и противник кровопролития, охотничьего ружья не держал, поэтому пришлось картофельное прашеметание заменить более весомым. И он нашел хороший снаряд — опять же овощного порядка. Наподобие физкультурников, толкающих ядра, он стал запускать в ночных гостей полупудовой кормовой свеклой. От свеклы валились с ног и спешно уползали. Скоро по ночам его совсем перестали беспокоить.

VI. КЛАДБИЩЕНСКАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ С УДОБСТВАМИ

Студент-медик Лобанов вышел из читальни и побрел по улице. Надежд на получение комнаты у него уже не оставалось. А зима —

на носу. В свободное время он бродил наудачу по улицам. Лобанову казалось невероятным, чтобы в таком сравнительно большом городе не подвернулась для него возможность внедриться в одно из многочисленных зданий.

«Много ли мне надо? — думал он. — Всего-то пустяки. Так, угол какой-нибудь!..»

На этот раз назойливые мысли об угле незаметно сменились более приятными мыслями об учебе. Лобанов и не заметил, как вышел на окраину города, к заброшенному старообрядческому кладбищу.

Он пролез через брешь в ограде и пошел по заросшим дорожкам между холмиками осевших могил.

От вянувшей травы, желтеющих листьев и деревьев пахло волглым осенним лесом.

Остановившись перед большим, облицованным мрамором и обнесенным оградой мавзолеем, Лобанов подумал: «А чем это не дом?..»

Вошел внутрь. Комнатка — ничего себе. Только загромождена памятниками. На всех фамилия «Аршинов».

«Семейный склеп», — подумал студент и стал рассматривать живопись на стенах.

Неожиданно он рукой свалил еле державшийся камень на одном из памятников. Камень глухо ударился о противоположную стену.

Лобанова удивило, что каменная стена загудела, как бочка. Он стукнул сапогом по тому месту, куда ударился камень. Стена была, очевидно, лишь разрисована под камень, а на самом деле — деревянная. Лобанов тщательно исследовал ее и в углу под лепным орнаментом нащупал железное кольцо. Студент с трудом повернул кольцо, и перед ним открылась тяжелая дубовая дверь. Из темноты пахнуло затхлостью и прохладой подземелья...

Лобанов зажег спичку. Перед ним были ступеньки, уходившие вниз, во тьму. Он осмотрел дверь: с другой стороны — такое же кольцо. Лобанов зажег пучок веток и начал спускаться. Насчитав пятьдесят ступеней, он уперся в глухую стену. И здесь в углу он нащупал кольцо. Открыв вторую дверь, Лобанов очутился в коридоре. Пройдя шагов двести, он открыл еще одну дверь под лестницей, поднялся на пятьдесят ступеней в обширный мавзолей. На памятниках стояла фамилия Бондаревых. Стекла в решетчатых окнах были целы, и даже изнутри имелись железные ставни. В уголке спряталась полуразрушенная кирпичная печка.

— Эге! — произнес студент, переводя дыхание. — Чем же это не жилплощадь? Да как будто кто-то и жил здесь.

Наружная дверь еле открывалась. Мавзолей был обсажен кругом ивами и сиренью. Выйдя за чугунную ограду, Лобанов увидел прямо на север мавзолей Аршиновых, через который он вошел в подземелье.

«Отлично, — решил Лобанов, — поселюсь здесь. А чтобы не привлекать внимания любопытных к своему жилью, буду ходить под-



земным ходом через аршиновскую усыпальницу».

В тот же вечер Лобанов устроился на новой квартире.

Печку он починил. В закоулке между двумя памятниками у окна сделал откидной столик. Притащил чурбачок для сиденья. Повесил полочку для книг. Свою немудреную кровать устроил на возвышении у двери. Постельные принадлежности решил спрятать на потайной лестнице.

Лампу Лобанов сделал под стать своему жилищу: из отполированного временем черепа, поставив внутрь его самодельную копилку.

Покончив с «меблировкой», студент уселся за свой столик и с упоением стал читать «Анатомию» Зернова.

Свет, падавший двумя лучами из глазниц новой лампы, придавал его жилищу довольно жуткий вид.

«Вот бы теперь пустить сюда кинооператора! Вдоль и поперек заснимал бы!» — подумал Лобанов и достал жестяную коробочку, где лежала щепотка английского трубочного табака, подаренного товарищем.

Лобанов выдрал лист из найденной в углу трепаной книги. Свернул козью ножку. Однако курить оказалось невозможным: бумага — не бумага, а черт знает что! Закашлявшись, Лобанов бросил окуроч в отдушину и начал рассматривать книгу, из которой выдрал листочек. Книга — старинная, рукописная. Странички аккуратно испещрены славянской вязью, а заглавные буквы — алые, с красиво изогнутыми завитушками. Лобанов выругал себя невеждой, поставил книгу на полку и улегся спать.

VII. КЛАД ДЕЛАЕТ ПЕРВУЮ ВЫЛАЗКУ

Мало-помалу и Стручков поддался кладоискательской лихорадке. Ведь чем черт не шутит! Может

быть, и в самом деле какой-нибудь дурак что-то запрятал.

Вегетарианец задумался. Старатели перестанут шнырять у него под носом. А что, если, найдя один кладик, они еще пуще раззадорятся? Совсем его, Стручкова, выживут. И археолог сюда заявится, тоже начнет рыться. Дело известное.

Еще больше Стручков боялся, что сам натолкнется на клад. На что ему клад? Одно беспокойство. Во-первых, продать нельзя, еще в тюрьму засадят. Клады — они республике принадлежат, а не тому, кто выкопал. Во-вторых, хранить у себя — ни к чему, бессмысленно и опасно. А в-третьих, сдать в казну — несколько не лучше: опять на сцену выступит копатель Иваницкий. Дом и огород — тютю!

Таким печальным размышлениям предавался Стручков, пока очередной покупатель перед вечером выпливал в углу ободранного подвала облюбованную им стойку.

Покупатель ушел, а Стручков, осветив фонарем место, где стоял столб, увидел в стене кольцо. Он ухватился за него, кольцо повернулось — и перед Стручковым открылась в стене потайная дверь...

Спустившись на пятьдесят ступеней, Стручков увидел длинный коридор, облицованный кирпичом. Пол был выслан крупными плитами.

Пройдя не менее километра, Стручков наткнулся на глухую стену. Осветил ее, пошарил. В углу обнаружил невмазанную плиту. С трудом ее приподнял и под нею, к своему ужасу, увидел то, что ожидал и боялся увидеть, — клад.

Перед Стручковым стояли два дубовых ларца. В одном — золотая и серебряная церковная утварь, в другом — драгоценные камни, ожерелья, роскошные украшения...

Стручков поставил ларцы на прежнее место, прикрыл плитой, щели плотно забил щебнем — и

скорее прочь от клада, как от чумы!..

У себя в подвале кольцо от потайной двери Стручков замазал известью, сверху замаскировал глиной, землей и сором.

VIII. СТРУЧКОВ ОТБИВАЕТ ВТОРУЮ АТАКУ КЛАДА

В эту ночь Стручкову так и не удалось выспаться.

Он проснулся от странного шороха. Шорох и стук доносились откуда-то снизу. Решив, что это воры, Стручков спустился в подвал. Стук раздавался из подземного хода. Это совсем не понравилось Стручкову. Однако ему показалось странным, что стук лучше был слышен в пристройке. Поднявшись к себе и приложив ухо к полу, он стал прислушиваться...

Вскоре звуки прекратились. Через некоторое время Стручков снова вошел в дом и приложил ухо к полу. Неожиданно он заметил за печкой у самого входа железное кольцо, такое же, как в подвале. С трепетом повернул кольцо, и в стене открылась узкая дверка. Стручков с трудом в нее протиснулся. Снова опустился он на пятьдесят ступеней и сквозь новую дверь проник в тот самый коридор, один из входов которого он в этот день заделал. В темном углу он наткнулся на осколки кирпича. Кирпичи в стене были, видимо, расшатаны...

Вынув дрожащими руками несколько кирпичей, он побледнел от испуга и опустился на пол... Перед ним стояли уже знакомые ему ларцы!.. Отерев холодный пот со лба, Стручков привесил фонарь на грудь, взял оба ларца и понес их на прежнее место. Как и следовало ожидать, под плитой ничего не было. Обнаружив в стене кольцо, Стручков открыл дверь в том месте, где предполагал тупик. Перед ним темнела лестница. Решив

отнести клад подальше и запрягать понадежнее, чтобы он больше не возвращался, Стручков начал подниматься по ступеням.

Лестница привела его в мавзолей семьи Гавриковых. Стручков с опаской посмотрел в окно.

— Ишь, куда я угодил! Прямо на кладбище! — пробормотал он.

Шагах в четырехстах к западу возвышался мавзолеем Аршиновых, на юго-запад — Бондаревых, а на юге, в двухстах шагах — правительный четырехугольник мавзолея Волковых.

Пошарив по углам, Стручков нашел и в южной стене дверь. Быстро спустившись по лестнице, он открыл новую дверь и, пройдя коридором шагов двести, очутился в тупике: здесь никаких признаков двери ему не удалось обнаружить.

— Ну, отсюда до моего дома — больше версты! Теперь уж ты не вернешься ко мне, проклятый! Дудки! — свирепо пробормотал вегетарианец.

Около самого пола Стручков выдолбил большую впадину, засунул в нее оба ларца, тщательно заделал и замаскировал отверстие. Даже сор подмел шапкой и вынес наверх в мавзолеем.

«Ужо приду, зацементирую, — подумал он. — Тогда уж никто не найдет».

Поднимаясь к себе, Стручков у самой двери на ступеньке нашел оловянную тарелку, схватил ее, в сердцах скатал в трубку и бросил в вентиляционную отдушину...

IX. ТЕМНЫМ ВЕЧЕРОМ НА ТРОПИНКЕ...

Темным осенним вечером Лобанов возвращался к себе домой на кладбище. Когда он уже подходил к изгороди, ему показалось, что кто-то за ним крадется. Уже несколько вечеров ему мерещилось то же самое, когда он возвращался

домой. До сих пор он думал, что это ветер шумит в листьях, но на этот раз он четко расслышал шаги и даже увидел тень, юркнувшую в кусты.

«Кто это может быть? Ведь грабителю со мной возиться неинтересно», — подумал он. Решил высунуть и круто повернул назад. Кусты зашуршали... Кто-то убежал...

— Странно! — сказал Лобанов и пошел обходным путем.

Между рошей и кладбищем, на извилистой тропинке, спускавшейся к заброшенному заводу, кто-то испуганно крикнул. Вслед за этим зажегся светлячком и быстро замелькал по кустам маленький кружок света. Кто-то бежал навстречу Лобанову...

— Не бойтесь, здесь люди! — крикнул Лобанов.

Он почти столкнулся с бледным запыхавшимся человеком. Это был археолог. Иваницкий направлял свет прямо в глаза Лобанову и растерянно смотрел на него.

— Что с вами случилось, товарищ Иваницкий? — спросил Лобанов.

— Откуда вы меня знаете?

— Я вас встречал в библиотеке.

Они вместе пошли по направлению к городу.

— За мной кто-то гнался, — сказал археолог.

— Странно. За мной тоже кто-то крался, но, когда я пошел за ним, он убежал в кусты.

— Возможно, что вас приняли за меня, — криво усмехнулся Иваницкий. — За мной каждый день следят. Сегодня мне показалось, что за мной погнался тот самый человек, который украл у меня план.

— Как вы могли это узнать?

— Может быть, я ошибаюсь. Но сегодняшний так же громко хрустнул пальцами, как тот перед падением.

— Ну, этого, положим, маловато.

— Ему, естественно, хочется получить от меня ключ к украденно-

му плану, так как похищенный документ и план моих раскопок, вероятно, дополняют друг друга. Эти искатели кладов — наши злейшие враги. Из-за них мне приходится держать в секрете свои раскопки.

Открытое веселое лицо Лобанова располагало к доверию, и Иваницкий высказал ему свои соображения о том, что под кладбищем находится подземелье, где живет какой-то незнакомец. По-видимому, это сапожник, так как ежедневно на месте раскопок по вентиляционным трубам до него доносится ритмичный стук молотка. Это, во всяком случае, очень странный человек. Он постоянно бродит по подземелью, пробивает в разных местах стены и выбрасывает довольно ценные вещи.

Лобанов вызвался помочь Иваницкому отыскать подземелье с его обитателем.

— Я живу почти на самом кладбище, — сказал он.

Х. ЛЮК

В этот день Лобанов пораньше вернулся из читальни, чтобы внимательно осмотреть свое подземелье. Спустившись в коридор между аршинновским и бондаревским мавзолеями, он открыл дверь



в левой восточной стене. Пройдя коридор, наткнулся на новую дверь и двинулся направо по коридору между мавзолеями Гавриловых и Волковых. Войдя в тупик, где накануне Стручков запрятал страшный для него клад, некоторое время безуспешно искал кольцо. Решив, что дальше хода нет, он хотел было уйти, когда заметил под сводом на западной и восточной сторонах по кольцу. Дотянулся до левого кольца, повернул и... чуть не свалился в провал.

У самых ног Лобанова стремительно открылся люк, в который с грохотом полетели выщербленные из стены нижние кирпичи. Опустившись на колени, Лобанов старался рассмотреть дно колодца. Фонарь был слаб и, кроме пыли, ничего нельзя было разглядеть. Где-то вдали, не то внизу, не то сбоку, раздались шаги... Закрыв люк, Лобанов увидел, что обвалившиеся кирпичи обнажили большую впадину в стене.

Кольцо в противоположной стене открыло ход в коридор направо, в конце которого дверь распахнулась прямо перед подъемом в квартиру Лобанова.

— Вот оно что! — сказал он. — Оказывается, я обошел четырехугольник...

Не откладывая дела в долгий ящик, Лобанов побежал на квартиру к Иваницкому, но не застал его дома и оставил записку.

В это время Иваницкий в необычайном возбуждении суетился на своих раскопках. Прибежав на шум в конец левого тупика, он обнаружил неизвестно откуда взявшуюся кучу кирпича. Под ним стояли два дубовых ларца со старинными ценностями...

Иваницкий был до такой степени ошеломлен, что даже не пытался сообразить, откуда все это взялось.

— Ведь вот поди ж ты! — бормотал он. — Никогда бы не

думал, что все эти бытовые измышления о кладе будут соответствовать действительности!

Взглянув мельком на содержимое ящиков, он снова защелкнул железные затворы в крышках. Не теряя времени, сбегал за веревками, обвязал ларцы и волоком дотащил их до рундука, где хранились инструменты, оставив на полу белый след от облепившей ящики известки.

Заперев клад в рундук, Иваницкий поспешил в город, чтобы сообщить властям о находке и вызвать представителя от музея с надежной охраной...

XI. ПОГОНЯ В ЛАБИРИНТЕ

Лобанов битых два часа прождал Иваницкого. Он и не заметил, что в гробе притаился художавый человек.

Давно уже этот субъект следил за студентом, жившим на кладбище. По-видимому, он боялся Лобанова, так как не решался подойти достаточно близко и до сих пор не разгадал, куда исчезает каждый вечер студент после того, как он войдет в мавзолей Аршиновых. Теперь же, когда Лобанов потерял терпение и, круто повернувшись, исчез в дверях мавзолея, художавый человек решил проследовать за ним.

Накануне Стручкову не удалось выполнить своего намерения. Этому помешал большой наплыв покупателей его драгоценных гнилых бревен и досок.

Сегодня же он освободился пораньше, привязал к поясу мешочек с цементом и, засунув в карманы две бутылки с водой, отправился в подземелье...

Спохватившись, что забыл к цементу примешать песок, Стручков вышел наружу из мавзолея Гавриловых, набрал на дорожке песку и скользнул обратно в подземелье...

Иваницкий никого не нашел в музее и решил отложить перевозку клада до утра. Дома он увидел записку Лобанова и тотчас же пошел на кладбище. Отыскивая мавзолей, указанный в записке, он заметил человеческую фигуру. Когда фигура скрылась в ближайшем мавзолее, археолог последовал за ней.

Предполагая, что это студент, Иваницкий хотел его окликнуть, но побоялся. Увидев, что человек исчез в двери, открывшейся в стене мавзолея, он выждал немного и вскоре сам открыл эту дверь. Он успел увидеть, как фонарь мелькнул внизу во тьме. Иваницкий спустился по лестнице и увидел в конце коридора — шагах в двухстах — огонек. Человек, за которым он следовал, нагнулся к полу и что-то рассматривал. Археолог зажег карманный фонарик и чуть не вскрикнул от радости. Коридор был точно такой же, как на месте раскопок...

Стручков, которого Иваницкий принял за студента, спустившись с лестницы, быстро зашагал по коридору, не заметив, что справа от лестницы в стене открыта дверь.

Дойдя до конца коридора, он нагнулся... Что за наваждение! Замуровывать было решительно нечего. Не только клада, даже щепня и кирпичей, которые он вчера так тщательно прилаживал, не оказалось. На Стручкова из стены у самого пола щерилась пустая темная яма, в которую он запрягал клад.

— Ишь ты, дело какое! Прятный больно клад: опять улетучился. Чудно даже! — пробормотал Стручков. От странного ощущения пустоты за спиной он оглянулся и мгновенно вскочил на ноги. В правой стороне тупика была открыта дверь. Прижавшись к косяку, Стручков в конце коридора увидел свет фонарика...

Решив, что перед ним человек, похитивший клад, Стручков

стал красться на свет, спрятав свой фонарь за спину.

В действительности же он крадся за хитрым человеком, который сам выслеживал студента.

Между тем Лобанов, не подозревавший, что за ним кто-то идет, увидел впереди себя то потухавший, то вновь вспыхивавший свет фонарика археолога, следовавшего за Стручковым.

— Вероятно, это и есть бандит, о котором говорил Иваницкий, — прошептал студент и, спрятав фонарь за спину, пошел на огонек...

Таким образом, каждый из четырех думал, что выслеживает злого искателя клада, а сам остается незамеченным, потому что прятал свой фонарик за спину. Все они крались друг за другом достаточно быстро, чтобы не потерять огонька из виду и выждать за углом, пока огонек преследуемого не дойдет до следующего угла. При этом у каждого из них, кроме студента, создалось впечатление, что он идет по бесконечному лабиринту с бесчисленными поворотами направо.

Когда участники этой своеобразной кадрили сделали три полных оборота по четырехугольнику коридора, Лобанов потерял, наконец, терпение. Он решил, что преследуемый им человек попросту заблудился и кружится в поисках выхода.

«Догнать и заговорить с ним, что ли? — думал он. — Черт его знает, кто это! Несколько рискованно! Вдруг возьмет и прикокошит...»

Тогда Лобанов решил, что нашел удачный выход: можно попробовать спуститься в люк и, если внизу нет другого хода, хотя бы переждать, пока искателю клада не надоест бродить по коридорам.

Сказано — сделано. Подойдя к люку, Лобанов открыл его. Нагнулся и протянул вниз фонарь, увидел под собой меньше чем в трех метрах пол.

— А я-то вчера подумал — глу-

бина глубинная! Пыль помешала! — пробормотал он и закрыл над собою люк. Попав в подземелье Иваницкого, Лобанов дошел до разветвления ходов, повернул налево и уперся в тупик...

Тем временем за Лобановым таким же путем последовали все остальные: художавый человек, Стручков, археолог.

Внизу последовательность шествия нарушил Стручков. Он не заметил, как огонек, мелькавший впереди него, свернул влево и двинулся по направлению к заводу.

Оглянувшись, он вздрогнул и бросился бежать во всю прыть своих длинных ног: он увидел сразу три огонька! Один — под люком, где Иваницкий от радости, что найден выход из тупика, на время забыл о преследовании; другой огибал разветвление ходов и заворачивал влево; третий маячил в конце разветвления, где студент освещал потолок и стены тупика в надежде найти выход...

ХII. КЛАД НАСТИГАЕТ СТРУЧКОВА

Стручкову положительно не везло. Пытаясь скрыться от людей, находившихся позади него, он лицом к лицу столкнулся с настоящим бандитом.

Как и полагается бандиту, этот человек имел на лице зловеще черную маску. В его руках Стручков увидел... оба ларца с кладом!..

Бандит приблизился к Стручкову и задул его фонарь.

— Дурак! — прошептал он довольно миролюбиво. — Ведь за нами гонятся! А поймают — обним каюк!.. Скорей бери один ларец! — продолжал бандит. — Оба я не донесу. А ты парень здоровый. Еще сейчас чувствую, как ты меня свеклой угостил. Я, брат, времени не терял! Планчик-то я

изучил и везде побывал. Вчера, когда я нашел клад и запрятал его подальше, у меня его тут же сперли. Ей-богу! Археологичко плюгавенький стибрил под самым твоим домом! Ну, а сегодня, как видишь, пока вы там в верхних коридорах в бирюльки играли...

Стручков, совсем одуревший от того, что клад настиг его в третий раз, да еще сделал невольным сообщником преступления, почти не слушал шепота разоткровенничавшегося бандита и послушно шел за ним.

Вскоре бандит остановился.

— Здесь двери. Я вот этим ходом налево выйду через твой дом. А ты живее беги вот сюда направо. Попадешь, минуя люк, в бондаревскую часовню, где студент живет. Да поторапливайся, пока он к себе не вернулся! Для дележа сойдемся через час в Кобыльем овраге...

С этими словами бандит открыл, одну против другой, две двери в стенах коридора...

Когда три огонька сошлись, наконец, в тупике, раздалась одновременно три радостных возгласа.

— Товарищ Иваницкий! Как хорошо, что вы здесь! — воскликнул студент.

— Хорошо, что вы здесь, товарищ Иваницкий! — произнес художавый человек.

— И вы здесь, товарищ Лобанов! Отлично! — обрадовался археолог. Затем, посмотрев на художавого человека, спросил его: — А вы откуда?

— Я шел следом за вами, — сухо ответил художавый и показал Иваницкому какое-то удостоверение.

— А, очень рад! — сказал Иваницкий. — Вы нам поможете.

— Кажется, должен быть и четвертый... Я шел за вами, товарищ Иваницкий, принимая вас за бандита, — сказал Лобанов, рассматривая фонарь археолога, — а может быть, я и в самом деле гнал-

ся за бандитом? Во всяком случае, я только что слышал, как кто-то убежал вот в этом направлении.

— Совершенно верно! — подтвердил Иваницкий. — Мне тоже показалось, что там мелькнул огонек.

— Не будем терять времени! — проговорил художавый. — Раз вы оба кого-то видели, идем по горячим следам!

Про себя он подумал: «А по моему, я уже нашел того, кто мне нужен...»

Пока они шли по коридору, археолог еще раз рассказал о таинственных шагах, о падавших через вентиляционные ходы вещах, о надоедливом стуке подземного сапожника.

— Я вам сейчас покажу вещи, которые прилетели в мою вентиляционную отдушину; они — в рундуке.

Иваницкий с художавым ушли вперед, а Лобанов нагнулся, рассматривая что-то на полу.

— Украли! — закричал Иваницкий. — Клад украли!..

Художавый осмотрел рундук, то и дело оглядываясь на Лобанова.

— Где у вас вещи, что сыпались в отдушину? В этой коробочке? Они нам скоро пригодятся, — сказал он.

— Идите скорей! — крикнул Лобанов. — Я след нашел!

Все трое побежали к нему. Лобанов осветил узенькую дорожку цемента.

— Есть! — радостно воскликнул художавый, нащупав кольцо в стене...

Они шли узким извилистым коридором, поднимавшимся несколько в гору.

— Кто здесь мог идти с мешком цемента? — рассуждал Иваницкий. — Если вор хотел замуровать клад, то он должен быть необычайно сильным, чтобы тащить и оба ящика и цемент одновременно.

— Не обязательно одновременно, — сказал художавый.

Они вышли к лестнице. Наверху ее валялся драный мешочек с цементом, почти пустой.

Очевидно, Стручков только здесь вспомнил про цемент.

Смущенный Лобанов остановился.

— Что за черт! — сказал он. — Ведь я здесь живу...

XIII. НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ В КОРОБОЧКЕ

Лобанов жестом радушного хозяина пригласил обоих гостей присесть на свой чурбачок.

Оба отказались.

— Ну, если мой диван не нравится, как хотите! — Он уселся на чурбачок.

Иваницкий уныло осматривал «комнату» Лобанова.

Художавый, наоборот, был очень доволен. Прежде всего он осмотрел содержимое коробочки, взятой у Иваницкого. Потом стал обходить все углы, все рассматривал и щупал. Снял с полки старинную славянскую книгу без первой страницы. Осмотрел «лампу». Затем подошел к Лобанову и, вынув из коробки Иваницкого свернутую в трубку оловянную тарелку, спросил:

— Сможете развернуть ее и опять свернуть?

— Попробую, — улыбнулся студент. Без труда он развернул трубку и снова скатал. — Только к чему это? Силу мою, что ли, хотите испытать?

Вместо ответа художавый вынул из коробочки развернутый окурочек козьея ножки и, приложив его к остаткам оторванной страницы книги, взятой с полки Лобанова, положил книгу на стол.

— Вы курили в этой бумаге свою махорку? — спросил он.

— Не свою махорку, а чужой английский трубочный табак, — поправил его Лобанов.

— Сейчас меня не интересует, как вы достаете табак, — возразил художавый. — Но вот зачем вам понадобилось скатывать и бросать тарелку? Впрочем, это мы успеем выяснить. Уже одного следа, ведущего к вашему жилищу, было бы достаточно, чтобы рассеялись все сомнения. Я за вами давно следил.

Лобанов был ошеломлен и не сразу нашелся, что сказать. Он перестал постукивать ногой о стенку, вскочил с чурбака и сказал с раздражением:

— Что вы мудрствуете! Если окуроч действительно мой, разве из этого следует, что тарелка не брошена кем-нибудь другим, или что через мою комнату не мог пройти еще кто-нибудь? Мало ли здесь ходов! Вы же вот пришли сейчас!

— Я вас искал и нашел. Не будем спорить. Вы скажете «совпадение» и так далее. Эти возражения мне знакомы. Вы часто так стучите ногой об стенку? — внезапно оборвав себя, спросил художавый.

— Всегда, когда сижу здесь и занимаюсь.

— Не этот ли звук вы, товарищ Иванецкий, принимали за стук молотка сапожника?

— Пожалуй, что этот, — печальным тоном подтвердил Изаницкий.

— Вот вам еще доказательство! Говорить больше не о чем. Улики неопровержимые! Вы арестованы.

XIV. КОЗЫ-СЛЕДОПЫТЫ

На другой день в газете в отделе происшествий появилось следующее сообщение:

«Полуразрушенный дом, занимаемый гражданином Стручковым, обвалился. Из-под развалин извлечен обезображенный труп хозяина, принимавшего участие в похищении

клада, найденного накануне археологом при раскопках. В окоченевших руках трупа крепко зажат один из похищенных ларцов, набитый ценностями. В кармане — похищенный у археолога план, в котором было указано место нахождения клада. Ларец тут же был опечатан. Другой похищенный ларец еще не найден».

Одновременно сообщалось, что арестован подозреваемый в соучастии в похищении студент Лобанов, который долгое время жил в катакомбах. Производится следствие.

Следующее сообщение гласило:

«Кассир мыловаренного завода Хлопов скрылся. Обнаружена значительная растрата. При обыске на квартире у него найдена записка к жене такого содержания: «Если я исчезну и растрата не будет пополнена, значит надежда на клад меня обманула и я покончил с собой». Очевидно, эта записка оставлена со специальной целью замести следы и выиграть время, чтобы успеть подальше уехать».

Лобанов безнадежно пытался разорвать сеть захлестнувших его улик и все более раздражался.

— Все, что я знаю, я рассказал! — воскликнул он. — Мне надо готовиться к зачету, а у меня отнимают время всякими расспросами! Ни в чем я не повинен! Никакой шкатулки не видал! В жизни своей не видел никакого Стручкова! Вот и все! Баста!

Когда вывели Лобанова, в комнату вошел рабкор Кондов.

— Товарищ следователь! У вас все разговоры о Стручкове, даже в приемной слышишь. Его хоронить собираются, а я привел его живого.

Следователь рассердился:

— Что вы мне, товарищ, чепуху рассказываете! У меня спешные... — Слова замерли у него на губах: в раскрытую дверь входил



— Идите-ка лучше отдохните, а после поговорим.

— Нет! Пожалуйста, сейчас! Потом — опять мучиться! Я сколько времени мучился! Особенно под кустом этим! А ночи-то теперь, сами знаете, холодные. Спасибо, вот Кондов меня надоумил, сюда привел. Избавьте меня от этого проклятого клада, чтобы он ко мне больше никогда не возвращался!

ХV. КЛАД РАЗВЕНЧАН

живой Стручков. Правда, он больше был похож на мертвеца — бледный, в лохмотьях.

— Как вы его нашли? — спросил следователь Кондова.

— А я с козами вместо собак пошел. С его козами. Отвязал, а они меня и привели в Кобылий овраг, прямехонько под кусточек, где он лежал да размышлял, что ему делать. Он даже обрадовался, когда меня увидел.

Показания Стручкова были еще более нелепы, чем его появление.

Виновным в похищении клада он себя не признавал, хотя сказал, что половина клада у него.

Стручков рассказал удивительную историю о том, как безуспешно спасался от настойчивых преследований клада, пока тот не свалился к нему прямо в руки. Тогда он счел дальнейшее сопротивление бесполезным и принял клад, тем более что бандит не пришел в назначенное место, чтобы избавить его от тяжелой обузы. Узнав, что дом обрушился, а самого его считают мертвым, Стручков хотел было скрыться подальше с кладом, но не смог себя пересилить.

— Не лежало мое сердце к этому беспокойству.

Следователь сперва записывал показания Стручкова, но скоро бросил это бесплодное занятие.

Комиссия, выехавшая в Кобылий овраг, выкопала из-под пресловутого куста зарытый Стручковым второй ларец. Можно уже было ознакомиться с содержимым, но в этот момент следователю сообщили, что его ожидает гражданин, требующий, чтобы с него немедленно сняли показания по делу Лобанова и Стручкова.

— Какие там еще показания! Дело Лобанова прекращается, а Стручкову, очевидно, надо лечиться от пережитых потрясений, — проворчал следователь.

— Надеюсь, мое заявление по этому делу будет последним, — добродушно прошамкал старый актер Залетаев, с плутоватой улыбкой входя в комнату. — Товарищ следователь, не отсылайте остальных, а особенно товарища Иванникового. Мое заявление такого рода, что чем больше свидетелей, тем лучше. — сказал он, усевшись поудобнее и приготовившись к повествованию.

— Я буду краток. Шум, поднятый вокруг клада, сперва меня забавлял, а потом начал внушать опасения, когда столько людей оказались запутанными в это дело. Я чувствую, что главный преступник — это я.

— Вы, кажется, хотели быть

кратким? — наемкнул следователь.
— Да, да, голубчик... То есть виноват, товарищ следователь. И так, было бы вам известно, что три года назад, когда собес еще не наделил меня жилплощадью, я как человек, не утративший еще былой предприимчивости, поселился там на кладбище, где вы обнаружили жилище студента Лобанова. Да-с. Может быть, вы обратили внимание на сложенную там кирпичную печурку, которой, без сомнения, пользовался и студент? Так вот она сложена этими самыми руками. Теперь — насчет клада. Этот клад, собственно говоря, принадлежит мне.

— Вы хотите оспаривать клад у государства?

— Оспаривать не собираюсь, да и не придется. Я могу вам перечислить все вещи, в них находящиеся. Все это я спрятал там в подземелье.

— Предположим, что это и так, — сказал следователь, — но в таком случае возникают три вопроса: во-первых, как вы могли подделать план так искусно, что ввели в заблуждение даже археолога, исчислявшего его возраст тремя столетиями, во-вторых, считаете ли вы, что можно признать вашей собственностью такое большое количество драгоценных и редких вещей, и, в-третьих, откуда вы могли достать такие ценности?

— Извольте, отвечу. Плана я не составлял. Он, очевидно, подлинный. Я согласен с товарищем Иванником, что там о кладе и не упоминается. Только я не согласен в толковании окончания слова «клад»... Скорее всего это было слово «кладбище», а вовсе не «кладка». Документ этот — просто план подземелья под кладбищем... Так я понимаю. На второй и третий вопросы, товарищ следователь, я отвечу, когда вы в присутствии экспертов, а такие тут налицо, вскрыете и прове-

рите по моей описи содержимое ларцов.

— В самом деле, не мешало бы это сделать, — заметил Иванников.

После вскрытия ларцов составили акт и передали их вместе с вещами Залетаеву...

В обоих ларцах находились бу-тафорские предметы: посуда из олова, жести и дерева...

В тот же день в трупе, извлеченном из развалин стручковского дома, по ревматическим узлам на руках опознали кассира Хлопова...

XVI. НАСТОЯЩАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ

Узнав, что с разрешения Иванникова он может снова временно занять свой мавзолей, студент забрал книжки — и помчался «домой».

Теперь уже открыто он поселился в прежнем помещении, обязавшись охранять кладбищенские входы.

Охрана была безусловно необходима. Десятки претендентов на занятие стручковских развалин и кладбищенских катакомб, подгоняемые не остывшей еще надеждой найти настоящий клад, расположились лагерем между развалинами и кладбищем.

Но не только незадачливые искатели сокровищ составляли контингент этого лагеря. Были среди них и люди, нуждавшиеся в жилплощади. «Опыт» Лобанова вызвал желающих подражать ему.

Через несколько дней после возвращения Лобанова в его «апартаменты» вошел участковый.

— Выезжайте!

Лобанов с видом радушного хозяина пригласил гостя сесть на чурбак.

— Вам не известно, что я живу здесь на законном основании? — улыбаясь, мягко сказал он.

— Коли так,* — согласился участковый, — вы все равно, что домовладелец, обязаны в трехдневный срок завести дворника, чтобы он содержал дорожки в порядке. А вас налогом обложат.

— Бросьте, товарищ! — улыбнулся Лобанов. — Я сам служу вроде дворника. С завтрашнего дня я зачисляюсь на службу в качестве ночного сторожа. А вам я помогу. Ручаюсь, что скоро убегу отсюда всех «кочевников».

И Лобанов сдержал свое слово. Забросив на месяц занятия, он

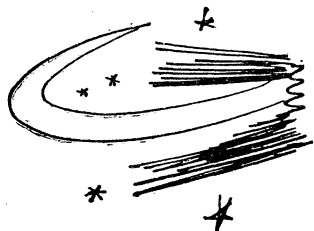
с утра до ночи носился по учреждениям и разговаривал с некоторыми «кочевниками».

И когда выпал первый снег, на пустошь рядом с развалинами бывшего строения, где жил Стручков, начали свозить кирпич и цемент для возведения первого дома вновь организованного жилищно-строительного кооператива.

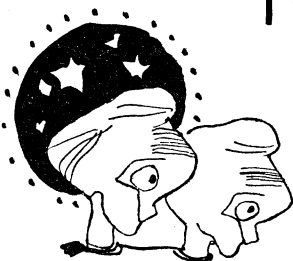
Стручков, оправившийся от пережитого потрясения, уехал в деревню и в настоящее время усердно занимается огородничеством и пчеловодством. Характер его несколько не изменился, но у него навсегда осталось отвращение к слову «клад».



ХЕМИНГУЭЙ КОСМОСЕ



Кингсли Эмис — известный английский писатель и крупный специалист в области современной англо-американской фантастики. Советскому читателю известна его повесть «Счастличик Джим». Читателю предлагается пародия Кингсли Эмиса на стандартный американский фантастический рассказ: «как это написал бы Хемингуэй».



Женщина смотрела на него, и он проделал еще один поиск. Снова ничего не вышло, но он знал, что один из них был где-то неподалеку. Так уж получается, что вы всегда это знаете. Прохотившись двадцать лет, вы всегда знаете, когда один из них где-то неподалеку.

— Есть что-нибудь?

— Пока нет.

— Я думала, вы сразу сможете сказать, где найти этих тварей, — сказала она. — Я думала, мы наняли вас для того, чтобы вы сразу навели нас на одну из этих тварей. Я думала, для этого мы вас и наняли.

— Ну-ну, Марта, — сказал молодой человек. — Никому не дано найти ксиба там, где его нет. Даже мистеру Хардакру. Мы можем наткнуться на них в любую минуту.

Она отошла от этих троих у пульта управления, и ее бедра, обтянутые облегающими брюками, вызывающе покачивались. «Сука ты, — подумал вдруг Филип Хардакр. — Проклятая, капризная, нудная, безмозглая сука». Ему стало жаль молодого человека. Он был симпатичный парень, и он был женат на этой проклятой безмозглой суке, и он слишком боялся ее, чтобы послать ее к чертовой матери, хотя видно было, как ему этого хочется.

— Он где-то поблизости, — сказал старый марсианин, поворачивая к Филипу Хардакру более крупную и более седую из своих двух голов. — Мы скоро увидим его.

Женщина прислонилась к борту корабля и посмотрела в иллюминатор.

— Не понимаю, для чего тебе понадобилось охотиться на этих чудовищ. Эти два дня мы могли бы прекрасно провести в Венуспорте, а мы томимся в этой стальной лоханке в двух световых годах от цивилизации. Ну что хорошего в ксибе, если ты даже его добудешь? Что ты этим докажешь?

— Ксиб является крупнейшей формой жизни в этой области галактики. — Молодой человек был школьным профессором или чем-то в этом роде, и вы могли догадаться об этом по его манере разговаривать. — Более того, здесь, в свободном пространстве, это единственное существо, наделенное способностью к ощущению, и оно необычайно свирепо. Известны случаи, когда ксибы нападали на разведывательные корабли. Это самая жесткая из всех проклятых тварей, какие есть на свете, не правда ли?

— Да, пожалуй, — сказал Филип Хардакр. Так оно и было, хотя было еще и многое другое: свобода, и звезды во мраке, и люди, крошечные в своих скафандрах и испуганные, и все же смелые, и ксибы, тоже крошечные перед лицом бесконечности, и холодная радость, если ксиб попадался подходящий.

— Вот он, — сказал старый марсианин своим свистящим голосом, склоняясь к экрану меньшей головой. — Смотрите, лед.

— Не желаю, — сказала она, поворачиваясь спиной. По древним марсианским понятиям о чести это было смертельным оскорблением, и она знала это, и Филип Хардакр знал, что она знала это, и в его горле была ненависть, но для ненависти не было времени.

Он поднялся от пульта. Сомнений не было. Новичок мог бы принять этот всплеск на экране за астероид или другой корабль, но, проохотившись двадцать лет, вы распознаете сразу.

— Надеть скафандры, — сказал он. — Выход за борт через три минуты.

Он помог молодому человеку надеть шлем, и случилось то, чего он опасался: марсианин тоже достал свой скафандр и решительно втискивал в него заднюю пару своих ног. Он подошел к нему и традиционным жестом просьбы положил руку между двумя его шеями.

— Сейчас не твоя охота, Гхмлу, — сказал он на архаическом и церемонном марсианском языке.

— Я еще силен, а он большой и движется быстро.

— Я знаю, но сейчас не твоя охота. Старики чаще бывают дичью, чем охотниками.

— Все мои глаза по-прежнему зорки, и все мои руки по-прежнему сильны.

— Но они медлительны, а они должны быть быстры. Когда-то они были быстры, но теперь они медлительны.

— Хар-даша, твой друг просит тебя.

— Кровь моя — твоя кровь, как всегда. Только мысль моя кажется злою, старик. Я буду охотиться без тебя.

— Тогда доброй охоты, Хар-даша. Я жду тебя всегда, — сказала старое существо, применив ритуальную формулу покорности.

— Будем мы стрелять в этого проклятого кита или нет? — Голос женщины был резок. — Или вы с ним собираетесь свистеть друг другу всю ночь?

Он свирепо повернулся к ней.

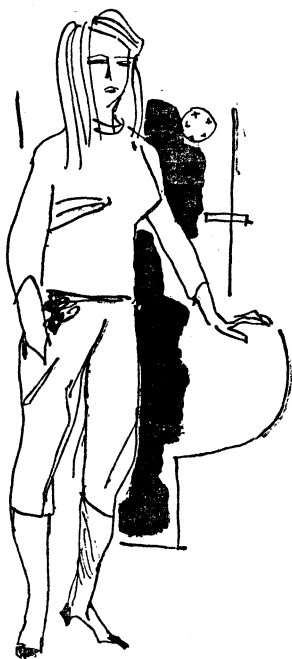
— А вы вообще не суйтесь в это дело. Вы остаетесь на борту. Поставьте этот бластер обратно на подставку, снимите этот скафандр и займитесь ужином. Мы вернемся через полчаса.

— Не смейте мне приказывать, вы, дубина. Я стреляю не хуже любого мужчины, и вы мне не запретите.

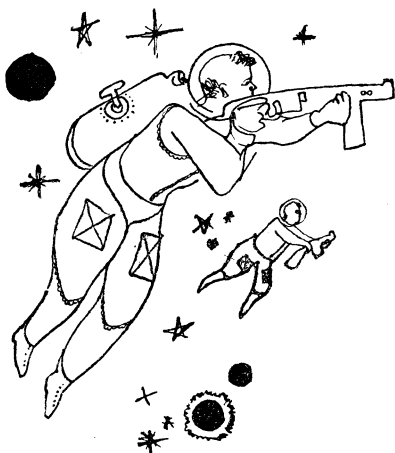
— Здесь я приказываю, кому что делать, и все меня слушают. — Через ее плечо ему было видно, как марсианин вешает свой скафандр, и в горле у него пересохло. — Если вы попытаетесь пролезть за нами в тамбур, я немедленно поворачиваю на Венеру.

— Мне очень жаль, Марта, но ты должна слушаться, — сказал молодой человек.

Два тяжелых бластера системы Уиндэма-Кларка были уже заряжены, и пока они стояли в тамбуре и ждали, он перевел оба на максимум. Затем наружный люк скользнул в стену, и они оказались снаружи, охваченные ощущением свободы, и бесконечности, и страха, который не был страхом. Звезды были очень холодными, и между звездами зиял мрак. Звезд было не очень много, и там, где звезд не было, мрак был бесконечен. Звезд



Рисунки В. НЕДОГОНОВА



ды и мрак вместе — вот что давало ощущение свободы. Без звезд или без мрака не было бы ощущения свободы, только бесконечность, но со звездами и с мраком у вас была и свобода и бесконечность. Звезд было мало, и свет их был слаб и холоден, и вокруг них был мрак.

Он сказал молодому человеку по радио:

— Вы видите его? Вон там, в направлении той большой звезды с маленьким спутником.

— Где?

— Смотрите, куда я показываю. Он нас еще не заметил.

— А как он нас заметит?

— Это неважно. Теперь слушайте. Когда он бросится, вы успеете сделать один выстрел. Всего один выстрел. Затем включайте ракеты на скафандре и летите вперед со всей быстротой, на которую вы способны. Это сбивает его с толку сильнее, чем движение вбок.

— Вы мне уже говорили.

— Я говорю вам еще раз. Один выстрел. У вас будет всего один выстрел. Приготовьтесь, он увидел нас, он поворачивает.

Гигантская прекрасная светящаяся масса сделалась узкой, когда устремилась на них, затем стала разбухать. Ксиб надвигался быстро, как все другие, которых он знал. Это был огромный быстрый ксиб и, видимо, достаточно подходящий. Наверняка можно будет сказать после первого броска. Ему хотелось, чтобы ксиб оказался подходящим, ради молодого человека. Ему хотелось, чтобы молодой человек поохотился на славу на подходящего огромного быстрого ксиба.

— Стреляйте через пятнадцать секунд, затем включайте ракеты, — сказал Филип Хардакр. — И сразу готовьтесь снова, у вас не будет много времени перед следующим броском.

Ксиб надвинулся, и молодой человек выстрелил. Он выстрелил слишком рано и слегка задел кончик хвоста. Филип Хардакр подождал столько, сколько у него хватило смелости, и выстрелил в горб, где находились главные ганглии, и включил ракеты, не успев даже взглянуть, куда он попал.

Да, это был подходящий ксиб. По тому, как стало пульсировать его свечение, можно было сказать, что он ранен в нервный узел, или что у него там есть, но через несколько секунд он развернулся и начал новый огромный прекрасный грациозный прыжок на охотников. На этот раз молодой человек выждал немного дольше, и попал куда-то возле горба, и включил ракеты, как ему было сказано. Но тут ксиб вдруг снизился, что

бывает только раз в ста случаях, и ксиб и человек оказались почти друг на друге. Единственное, что мог сделать Филип Хардакр, это выпустить из своего Уиндэма-Кларка все заряды в надежде, что потеря такого количества энергии заставит ксиба изменить направление и броситься на него. Затем он ринулся вперед на предельной скорости и приказал по радио немедленно отступить к кораблю.

— Он чем-то обдал меня, и я потерял мой бластер, — слышался голос молодого человека.

— Возвращайтесь к кораблю.

— А мы успеем?

— Мы попробуем. Видно, ваш последний выстрел изрядно повредил его, и он потерял скорость или чувство ориентировки — сказал Филип Хардакр. Он уже знал, что они пропали. Ксиб был всего в нескольких милях над ними и начинал разворот для нового броска, двигаясь медленнее, чем раньше, но все же недостаточно медленно. Корабль тоже был над ними, но в другом направлении. Вот что грозит вам каждый раз, когда вы охотитесь на ксиба, и когда это в конце концов случается, это и есть конец охоты, и конец свободы и бесконечности, но ведь должны они когда-нибудь кончиться.

Длинная струя свега брызнула из корабля, и неожиданно ксиб засветился ярче, чем когда бы то ни было, и затем свечение его исчезло, и на его месте ничего не осталось.

Марсианин, скорчившись, лежал в тамбуре, и его клешни все еще сжимали третий Уиндэм-Кларк. Оба охотника ждали, пока захлопнется внешний люк и тамбур наполнится воздухом.

— Почему он не надел скафандр? — сказал молодой человек.

— Не было времени. Чтобы спасти нас, у него оставалось около минуты. Этого слишком мало, чтобы надеть марсианский скафандр.

— Что его убило? Холод?

— Пустота. Они быстро задыхаются без воздуха. Самое большее в пять секунд. Как раз достаточно, чтобы прицелиться и выстрелить.

«Да, он не был медлителен», — подумал Филип Хардакр.

В корабле их ждала женщина.

— Что случилось?

— Он погиб, разумеется. Он убил ксиба.

— Неужели для этого ему понадобилось умереть?

— На борту оставался только один бластер и только одно место, откуда можно было стрелять, — сказал Филип Хардакр. Затем его голос стал тихим. — А вы все еще в скафандре?

— Мне хотелось узнать, как в нем себя чувствуют. Но вы сказали, чтобы я сняла его.

— Почему же вы не вышли с бластером в тамбур?

Ее глаза потускнели.

— Я не знала, как отпирается замок.

— Это знал Гхмлу. Он мог отпереть его отсюда. И вы умеете стрелять, так вы говорили, во всяком случае.

— Мне очень жаль.

— Эти слова мне нравятся, — сказал молодой человек. Теперь он не был больше похож на школьного профессора, и он

больше не боялся ее. — Это самые лучшие слова, которые мне приходилось слышать. И в этих словах есть еще кое-что. «Мне очень жаль», — вот что я тебе скажу, черт тебя подери, когда брошу тебя в Венуспорте и улечу на Землю один. Тебе ведь нравится Венуспорт, правда? Ну вот, я дам тебе шанс затеяться в нем.

Филип Хардакр кончил складывать шупальца и руки на груди старого марсианина и пробормотал, что помнил из прощального приветствия.

— Прости меня, — сказал он.

— Давай ужин, — сказал молодой человек женщине. — Да поживее.

— Это была твоя охота, — сказал Филип Хардакр трупу своего друга.

Перевел с английского С. БЕРЕЖКОВ

На 1-й стр. обложки:
Рисунок Н. ГРИШИНА и Г. КОВАНОВА к рассказу Клиффорда Д. Саймака «Денежное дерево».

На 2-й стр. обложки:
Рисунок Н. Кутилова к главам из романа Л. Лагина «Голубой человек».

На 4-й стр. обложки:
«Через тернии к звездам».
Фото И. Агафонова

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕПРОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, Н. И. КОРОТЕЕВ, А. А. НОДИЯ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Редакторы выпуска О. СОКОЛОВ, Т. ЧЕХОВСКАЯ.

Художественный редактор Г. КОВАНОВ.

Рукописи не возвращаются.

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес редакции: Москва, А-30, Суцёвская, 21. Тел. Д 1-15-00, доб. 4-10.

А01179. Подп. к печ. 28/V 1966 г. Бумага 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (8,2). Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 300 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 786.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», Москва, А-30, Суцёвская, 21.

ВОКРУГ СВЕТА

Журнал основан в 1861 году

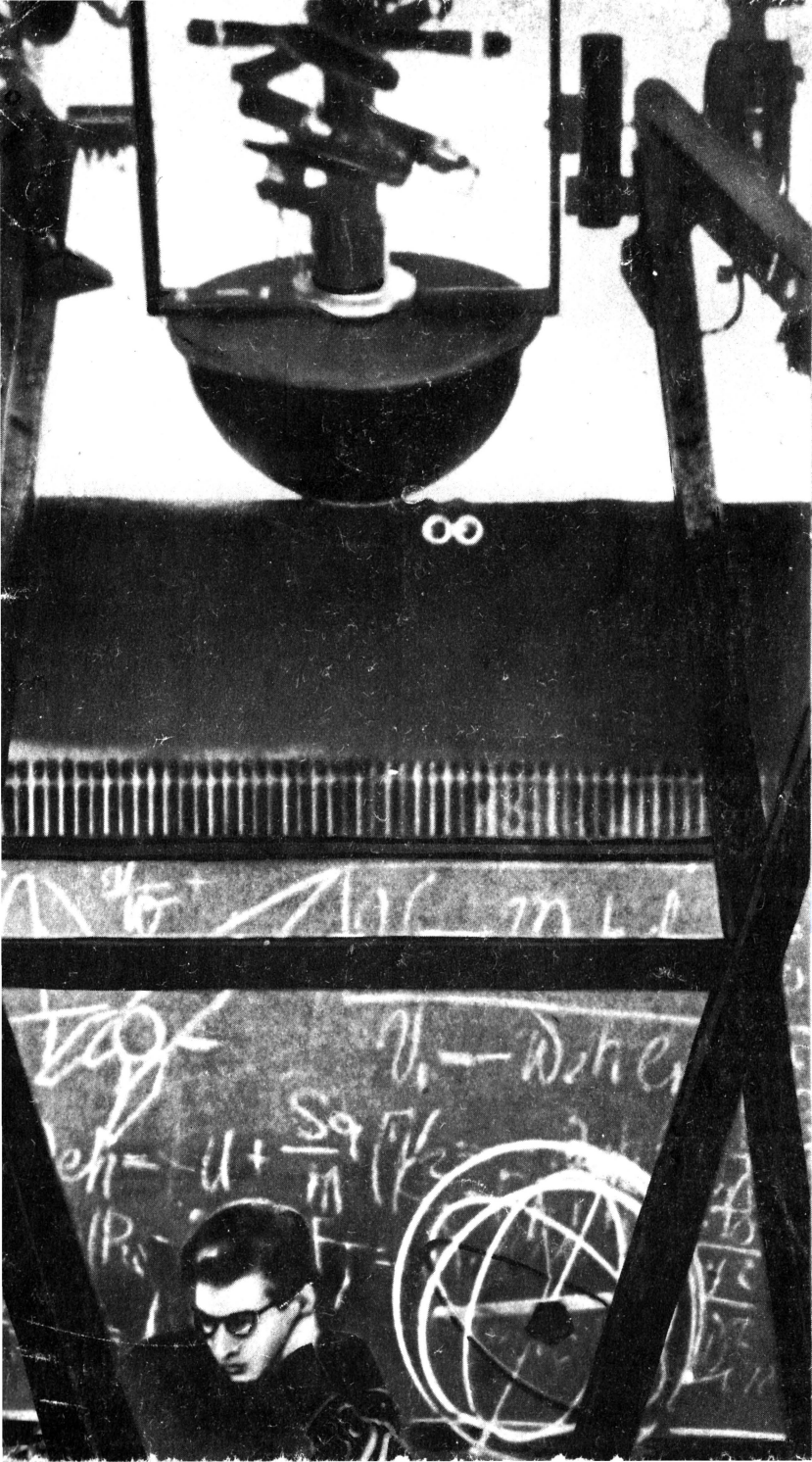
НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ
ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ



„ВОКРУГ СВЕТА“

ПОВЕСТЬ
ШВЕЙЦАРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ
ФРИДРИХА
ДЮРРЕНМАТТА

„СУДЬЯ
И
ПАЛАЧ



ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Цена 20 коп.